

 европа

УДК 304.42
ББК 87.66
А 52

В оформлении книги использован рисунок
Владимира Камаева «Сусанна и старцы» © Студия
Артемия Лебедева

Научные рецензенты:

член-корреспондент РАН В.В. Миронов
д. ф. н., профессор К.Х. Момджян

Андрей Ашкеров

А 52 Экспертотократия. Управление знаниями:
производство и обращение информации в эпоху
ультракапитализма. – М.: Издательство «Европа»,
2009. – 132 с. – (Политучеба)

Тезис об управляемости знаний снабжает экспертократию привилегированным доступом к реальности, когда любые социальные изменения воспринимаются как следствия менеджериальной революции. Новая книга одного из немногих отечественных публичных мыслителей Андрея Ашкерова посвящена исследованию издержек диктатуры менеджмента экспертократии. Автор рассматривает подлинные последствия превращения истины в капитал, познания и обучения – в рыночное производство, а научно-педагогической деятельности – в сервис. Для широкого круга читателей, интересующихся борьбой за концептуальную власть.

The knowledge management concept provides expertocracy with privileged access to reality in which all social changes are perceived as effects of the managerial revolution. The new book by Andrei Ashkerov, one of the few national public thinkers, deals with the costs of expertocracy's management dictatorship. The author analyzes the actual consequences of truth being transformed into capital, learning and education into market production, and scientific and educational activities into a service. The book is intended for a wide audience interested in the struggle for conceptual power.

УДК 304.42
ББК 87.66

| Серия «Политучеба»

| *Андрей АШКЕРОВ*

ЭКСПЕРТОКРАТИЯ.

Управление знаниями

**Производство и обращение информации
в эпоху ультракапитализма**

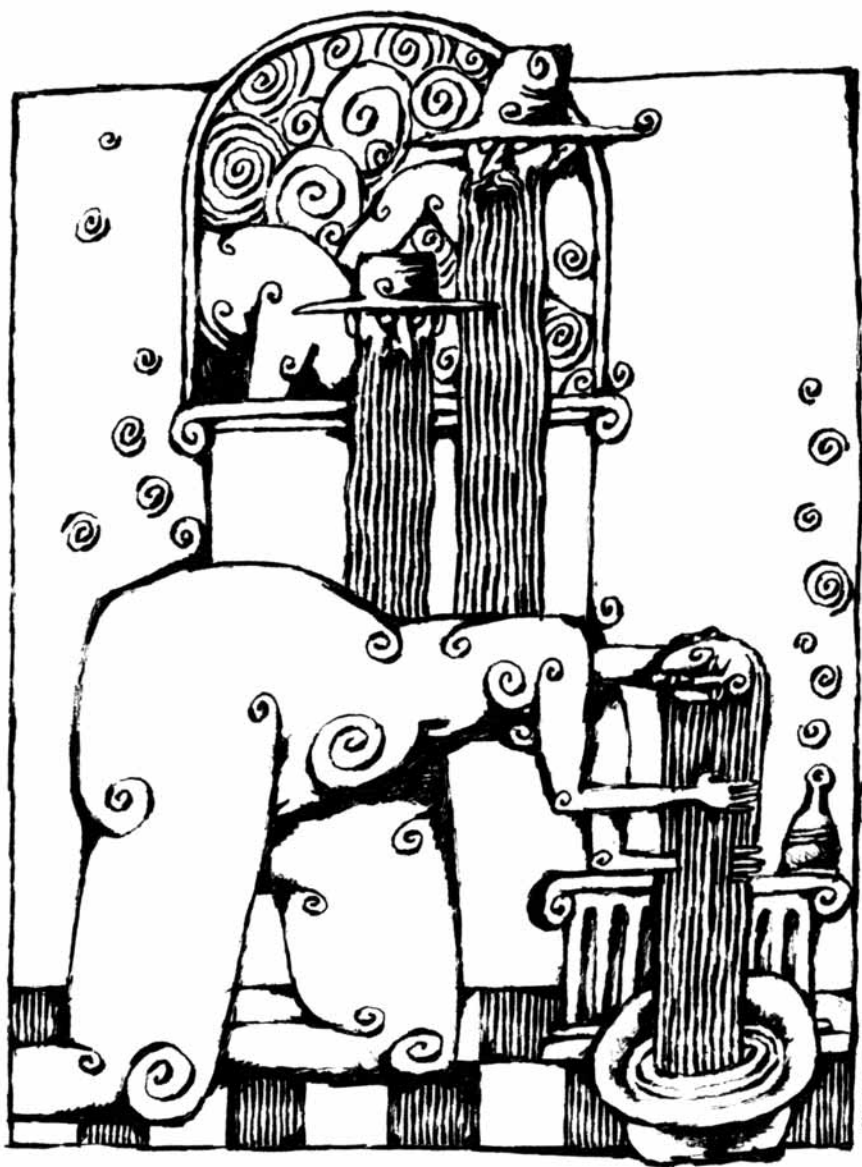
| Москва
Издательство «Европа»
2009

Моим родителям

*«Мировой дух Гегеля шествует
подобно каннибалу; пожирая сознания
противников, переваривая их, он образует
свой суверенитет».*
Петер Слотердайк

*«Бей всех –
Мировой дух узнает своих!»*
Из разговора
интеллектуалов в «Живом журнале»

*«Все, что они делают, воспринимается
ими как вкусная подробность деятельности
Мирового духа».*
Из сплетен о философах



J. OAMBO '09

ВВЕДЕНИЕ

Управление знаниями – популярный тренд, хорошо знакомый поклонникам современного менеджмента. Благодаря этому тренду управленческая методология превратилась в новый метанарратив, объясняющий нам все, что мы должны представлять о человеке и мире. Тезис об управляемости знаний снабжает менеджмент иллюзией привилегированного доступа к реальности, которая начинает пониматься лишь под углом зрения наиболее эффективного на нее воздействия. Любые социальные изменения и технологические инновации воспринимаются при этом исключительно как следствия менеджериальной революции.

Открывающаяся данным введением книга посвящена исследованию издержек нарративной диктатуры менеджмента в умах и сердцах современных людей, которая препятствует осознанию подлинных последствий превращения истины в капитал, познания – в разновидность маркетинга, а образовательной и академической деятельности – в род сервиса.

Проблема современного общества, которое связано с режимом экспертократии и кажется «основанным на знании», состоит в том, что технологические возможности, связанные с тиражированием, обработкой и передачей информации, существенно превышают возможности по ее качественному видоизменению.

Это заставляет нас вновь задаться кантовым вопросом: «Что можно знать?», понимая его как вопрос, адресованный не абстрактному «человеку вообще», а различным профессионалам знаний. Последние на рубеже индустриализма и постиндустрии-

ализма восприняли отождествление познавательной деятельности с производством едва ли не как предпосылку утопического всезнайства. Впрочем, вскоре выяснилось: именно профессионализация знания под знаком превращения его в производственный процесс делает современного «человека знающего» наименее осведомленным. В этом нет никакого парадокса, поскольку именно «человек знающий», во-первых, не ведает, что он в действительности может знать (возможно, он может знать даже больше, чем хочет), а во-вторых, прискорбно безучастен к любым обобщающим стратегиям, обозначающим демаркацию знания и не-знания. Подобные издержки и есть издержки *экспертократии*.

В отличие от архаических мифов, выдвигавших в порядке компенсации за несовершенство коммуникации между людьми коммуникацию человека с божественными силами и природными стихиями, современные мифы порождаются необходимостью справиться с перепроизводством опосредованной межчеловеческой коммуникации и нехваткой коммуникации лицом-к-лицу. Посредством простого информирования последняя оказывает на него куда более жесткое детерминирующее воздействие, нежели то, которое прежде оказывали природа или боги. Именно поэтому мы связываем с экспертократией особый режим символической власти, когда информация превращается в такой род ресурса, с которым отождествляют наиболее полноценную и легкодоступную форму освобождения, но который при этом превращает любую *эмансипаторскую политику в основную социальную технологию принуждения*.

На протяжении веков именно качественное видоизменение информации и было формулой приращения знания. Очевиден парадокс: чем более скоростными и насыщенными становятся информационные потоки, тем меньше возможностей получения нового знания и тем сомнительнее статус новизны информационных продуктов.

Экспертократия возникла, когда становление медийной инфраструктуры – будь то телевидение, Интернет, университеты, исследовательские и консалтинговые центры – привело к превращению информации в капитал, подчиненный принципу самовозрастания. Более того, экспертократический режим власти позволил уподобить само движение товаров и капиталов циркуляции знаков, представив его как частный случай последней. Информирование превратилось в главенствующий стиль производства, обмена и потребления. Обратной стороной данного превращения выступает воля к тому, чтобы подчинить интеллектуальную деятельность принципу «Wszystko

I ВВЕДЕНИЕ

na sprzedaz!» («Всё на продажу», польск., по названию фильма А. Вайды)¹.

При этом в отличие от древней жреческой власти власть экспертократии строится не на утаивании информации, а на спекуляции ее открытостью. В отличие от древнего сакрального знания ценность (потребительская стоимость) современной информации связана не с вечным пребыванием, а с ничем ни сдерживаемым становлением. В отличие от идей и представлений информация представляет собой структурную единицу не статичного, а меняющегося и преодолевающего самоё себя бытия.

Власть экспертократии основана на повышении пластичности мира, получаемая ею прибавочная стоимость связана с аккумулярованием возможностей от спроса на изменения и риски. Полученные и присвоенные таким образом возможности именуются на экспертократическом языке «инновациями».

Человеческое знание в экспертократическую эпоху стало восприниматься как инструмент внедрения особой политэкономии, связанной с принципом оптимизации. Знание «оптимизировалось» таким образом, чтобы служить «оптимизации» деятельности и всей системы жизненных устремлений. Суть «оптимизации» применительно к самой информационной инфраструктуре выразилась прежде всего в том, чтобы избавиться от чрезмерной фундаментальности образования, предпочтя слишком «общим» знаниям узкоспециальные сведения и технические навыки. В более общем плане общество экспертократии оказалось построенным на превращении спекуляции открытостью в наиболее общее условие человеческого взаимодействия.

Заимствованный из западной управленческой теории тренд «информационная экономика» явился не столько обозначением реальных индустриальных технологий нового поколения, сколько институальной системой, основанной на (1) десубстанциализации предметности, (2) антропоморфной субъективации вещей, (3) деантропологизации людей, (4) категоризации товарных тел как знаков.

В более узком смысле «информационная экономика» стала социальной технологией превращения образовательных и ис-

¹ Отсюда постоянная подозрительность интеллектуалов в отношении друг друга: проданся? стал разменной монетой? лакействуешь? Эту повсеместную и бессубъектную подозрительность питает простое убеждение, выступающее следствием чудовищной обездоленности: не продаваться нельзя, невозможно не продаваться.

следовательских институций в сервисные организации. В основе образовательного сервиса лежит особая форма инженерной деятельности, превращающейся в двухсоставную конструкцию человеческой идентичности, один уровень которой соответствует людям как субъектам сознания, а другой – как монадоподобным органам национально-политического тела. Представление об образовании как сервисе выглядит своего рода революцией, ибо меняет точку зрения на процесс социального воспроизводства в целом.

Однако эта революция генетически обусловлена характерной для Нового времени связкой истины и капитала: капитал выступает все более всеобъемлющей формой объективации и ретрансляции всего, что может рассматриваться как имеющее ценность¹. Задолго до изобретения понятия человеческого капитала он открывает возможность капитализации человеческого в человеке. Именно Новому времени мы обязаны образами «природы», «естества» и «естественного человека», которые возникли как результат аккумуляции капитала на пер-

¹ Это создает огромный соблазн, связанный с переводом деятельности философа или социогуманитарного мыслителя на язык маркетинга и конкуренции. Подобного рода «перевод» составляет единственное, что вычитала у французского социолога Пьера Бурдьё немногочисленная кучка его местных последователей – в итоге получилось, что Бурдьё с его анализом символического производства не методолог экономизма, а его идеолог. В этой ситуации дорога любая попытка [например, вот эта: <http://chtodelat-info.livejournal.com/26053.html>] поставить вопрос о взаимоотношениях между профессионалами знания как вопрос теоретической дискуссии и концептуального оппонирования, а не как вопрос о межвидовой экономической борьбе (скажем, между «философами» и «социологами»).

Примечательно, что инициируется подобное смещение акцентов не правыми (неоконсервативными) теоретиками, а адептами левой мысли, которые в нынешних условиях оказываются более озабоченными превращением интеллектуальной автономии в стратегию социального противоборства. Экономикоцентристское восприятие межвидовой борьбы мыслителей мгновенно превращает вопрос об интеллектуальной автономии в вопросы цеховой солидарности, корпоративной этики и личного успеха. При этом отдельным вопросом является, насколько вообще уместна греза об этой автономии, контрастирующая с ее реальностью в виде всевластия администраторов-идеологов и администраторов-академистов.

Именно поэтому, собственно, в наших условиях нужна работа, противоположная той, которую произвел Бурдьё: вместо обозначения того, что теория или репутация – это «тоже бизнес», нужно исследовать возможности науки и символического капитала в ситуации гиперкапитализма, когда провиденциальным смыслом наделяется само существование денег («Бабло победило зло!»).

I ВВЕДЕНИЕ

воначальной фазе его накопления¹. С той же фазой связан и популярный тогда жанр «социальных робинзонад», описывающий человеческую натуру как своеобразное вместилище практик и навыков цивилизационного устройства. В каком бы месте и при каких условиях ни оказался человек, первейшим его долгом выступает продвижение цивилизации везде, куда может ступить его нога.

Понятый как агент сетевого маркетинга по распространению норм цивилизованной жизни, человек в «социальных робинзонадах» оказывается фигурой, деятельность которой описывает в обратном порядке процесс накопления капитала. Но и после угасания жанра робинзонады капитал выступает едва ли не как мистическое средоточие цивилизованности, но и как вполне реальная предпосылка истины и стремящегося к ней субъекта. Именно с капитала берется та мерка, с которой соотносится объективность истинного познания и ценностного дискурса². При этом в капитале нет ничего «субъективного» именно потому, что субъективация сама мыслится в логике капитализации.

Эпохе раннего индустриализма соответствует модель классического субъекта, явленного как эпифеномен гипертрофированной познавательной способности («чистый разум»). Мораль классического субъекта сводится к кодексу самообладания, а деятельность и воля оказываются помещенными внутрь запаянной конструкции автохтонного сознания. Зрелый индустриализм предполагает производственную субъективность, организованную вокруг инфраструктуры экономической вла-

¹ Именно этот момент не учитывает марксова критика товарного фетишизма, в соответствии с которой отношения между вещами рассматриваются как иллюзорное отображение отношений между людьми. Отношения между людьми как носителями мифологизированной Марксом «подлинной природы» имеют не менее фетишистское происхождение. *Любая апелляция к природе неизменно выступает проявлением фетишистской установки.* Так, Ричард Рорти, переводящий интуиции основоположника марксизма в формат теории философского прагматизма [Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997], недооценивает тот факт, что, отказывая сознанию в функциях «зеркала природы», мы вместе с зеркалом «разбиваем» и саму природу, существующую лишь в качестве его отражения.

² Мерка, предоставляемая капиталом для истины, настолько широка, что эта истина может пониматься, с одной стороны, как абсолютно кумулятивное и тотализованное образование (таково представление об истине, сформированное в русле многовековой метафизической традиции), а с другой – как конгломерат все более разбегающихся, разножанровых и несовместимых друг с другом мыслительных конструкций (подобным образом описывают истину «эпистемологический анархист» Пол Фейерабенд и его последователи).

сти и процедур присвоения прибавочной стоимости. Основным принципом субъективации оказался связанным с коллизией превращения труда в товар и формированием рынка трудовой деятельности. Фундаментальной дилеммой существования субъекта сделалось противопоставление работы и досуга, которое выступило не только отправной точкой моральной рефлексии, но и стратегическим условием волеизъявления.

Модели эпистемической и производственной субъективности не противостояли друг другу, поскольку начиная с эпохи Просвещения познание стало политехническим, а индустриальное развитие все больше подталкивало к универсализации познавательной деятельности. Воспроизводственные процессы в обществе оказались увязанными с культивацией энциклопедического знания, наследующего древнюю культуру софистики¹.

Это приводит к выдвиганию гумбольдтова университета не только как главенствующей образовательной институции, но и как основополагающей структуры социального воспроизводства. Подобно детерминистской концепции лапласовой вселенной, в которой природный универсум подобен ящику с плотно утрамбованным и заведомо опознаваемым содержимым, гумбольдтов университет выступает концептуальной конструкцией, изобретенной для всеобъемлющего упорядочения социального универсума. Если лапласова вселенная предполагает возможность тотального управления будущим в природной среде, то гумбольдтов университет выступает институциональным проектом тотального контроля над будущим в человеческом обществе.

И именно гумбольдтов университет переживает сегодня самый серьезный кризис за время своего существования.

Поздний индустриализм вызвал к жизни те формы субъективации, которые делают невозможным прежнее единство технического и энциклопедического знания. Одновременно этот кризис возвещает о невозможности прежних воспроизводственных стратегий, базировавшихся на последовательном противопоставлении природы и культуры. Уход от этого противопоставления продиктован не экологистскими или общегуманитарными соображениями, а логикой эволюции капитала. Прежде его стратегией выступало аккумулирование «естества», сегодня на смену ему пришло массивированное изобретение второй – социальной! – натуры человека.

Все это создает эффект, который Бруно Латур удачно называет природным релятивизмом (в противовес хорошо извест-

¹ См. об этом, например: [Аверинцев С. Два рождения европейского рационализма. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/dv_r.php]

I ВВЕДЕНИЕ

ному культурному релятивизму). Природный релятивизм предполагает переход на уровень рассмотрения антропологии обобщенных природно-культурных явлений, внутри которых не находится места для противопоставления природы и культуры как автономных начал. «Мы оказываемся, – пишет Латур, – перед производством таких природ-культур, которые я называю коллективами, чтобы напомнить о том, что они столь же отличны от общества, как его понимают социологи – общество как люди-между-собой, так и от природы, как ее рассматривают эпистемологи – природа-как-вещь-в-себе. Как я уже говорил, с точки зрения сравнительной антропологии все эти коллективы схожи друг с другом тем, что они одновременно распределяют, что в будущем станет элементами природы и что в будущем станет элементами социального мира. Никто никогда не слышал о коллективах, которые не задействовали бы небо, землю, тела, блага, право, богов, души, предков, силы, зверей, верования, вымышленные существа...» [Латур Б. Нового времени не было. Эссе по асимметричной антропологии. СПб., 2006]¹.

Вместо прежней системы экономического капитала, связывающей его власть с режимом ограниченной экономии товарообмена, возникла система символического капитала, основанная на всеобщей экономии дара и жертвы, ассоциировавшейся прежде исключительно с архаическими обществами. Символизация капитала – основная примета нашего времени, в котором товар подтверждает свой статус, превращаясь в бренд, а экономические выгоды плавно переходят в репутационные инвестиции и тренд-менеджмент.

Делаясь «символическим», капитал полностью подчиняет себе процесс социализации, превращая социальные роли и жизненные планы в пакеты программ, полностью готовых к установке. Субъективация перестает быть практикой, требующей личных усилий и связанной с авторством по отношению к собственной судьбе. Все это приводит к исчезновению самой презумпции самостоятельной человеческой деятельности. Мораль при этом оказывается в тени права, а волеизъявление сводится в лучшем случае к выбору между заведомо готовыми алгоритмами².

¹ Отличие нашего подхода от латуровского только в том, что мы говорим не о внезапно реконструированной «антропологической матрице», а о результате вовлечения капитала в отношения потлача, приписывавшиеся ранее только лишь древним «докапиталистическим» экономикам.

² См. об этом соответствующие разделы нашей книги [По справедливости. Эссе о партийности бытия. 2008].

Процесс социализации выступает сегодня процессом капитализации человеческого в человеке. Подчиненное логике самовозрастания капитала, человеческое существо исчезает, уступая место машине антропоморфизации. Мир и в самом деле становится «человеческим», только совсем не в том смысле, в каком об этом грезили гуманисты. Теперь «человеческое» – прибавочная стоимость, которая извлекается в результате осуществления любых форм жизнедеятельности. Оно повсюду, но при этом никогда не равно самому себе.

Не существует более объекта, в адрес которого можно было бы сказать пресловутое «се человек». Человек превратился в абстрактный принцип размножения вирусного типа, которое существует в бесконечном удваивании сущностей и попрании границ. Сегодня человеческое существо – вирус, который живет в ситуации перманентной атаки и исторг из себя механизм умирания. Следовало бы говорить не о человеческих сообществах или цивилизациях, а о колониях (наподобие колоний муравьев или других социальных животных). Существование в колониях означает, что индивидуальность вновь перестала быть персональной, а действие оказалось предельно десубъективированным.

Смерть человека, которую так долго возвещали философы, втайне надеявшиеся на ее отсрочку, наконец свершилась. И свершилась она в форме исчезновения человеческого существа как субъекта действующего. Капитализированная человечность предельно объективирует социальное действие, находящее в ней собственную противоположность. В силу этого человеческий капитал воспроизводится сам по себе: не только без помощи каких-либо конкретных практических усилий, но и в рамках отрицания практики как таковой.

Это налагается на видоизменение статуса семьи как главного института первичной социализации. Ранее семья выступала викторианским заповедником универсальных отношений, предполагающих повсеместную нормализацию в форме классической патерналистской политэкономии сбережения естества. Теперь семья не столько наиболее универсальная и естественная структура, сколько структура-трансформер.

Потеряв статус базовой структуры, семья в детерминируемой капитализмом системе взаимосвязей реконструируется как консервативная, почти реликтовая структура, позволяющая соотносить воспроизводственные процессы, основанные на культивации рисков и перемен, с логикой сохранения традиций. За семьей сохраняются функции отношения «первого порядка», однако теперь она выступает в качестве материи и истока капитализации человеческого в человеке. Человеческие

I ВВЕДЕНИЕ

ресурсы – самые важные, самые трудноопределяемые и проблематичные в использовании.

Этим объясняется как ключевая роль семьи среди других социальных лифтов, так и желание придать «семейный» характер многим отнюдь не семейным формам сотрудничества и взаимодействия. Нет никакого парадокса в том, что кризис семьи в прежнем понимании ее смысла сопровождается порождением, с одной стороны, альтернативных семейных укладов, а с другой – все новых форм семейственности, с которыми связана современная неофеодалная коррупционность.

Доминирование в современном обществе сферы услуг (характерное в том числе и для нашей страны) приобрело совершенно иной характер, нежели это предполагали теоретики постиндустриализма на рубеже 1960–1970-х годов. Тогда считалось, что развитие сферы услуг будет происходить в рамках доминирования интеллектуальных профессий, связанных с производством нового знания. Теперь оказалось, что это совершенно не так: создатели постиндустриальных утопий просто спроецировали на будущее общество ситуацию, характерную для эпохи 1960-х, когда интеллектуалы не только продолжали играть роль «властителей дум», но часто являлись политическими фигурами в самом прямом смысле этого слова.

Теперь стало ясно, что в прошлое ушел не только образ «всеобщего интеллектуала» в духе Сартра, но и образ «частичного», или «специфического», интеллектуала в духе Фуко.

«Всеобщий интеллектуал», миссия которого была связана с провозглашением универсальных норм, являлся наследником законотворца XVIII века, ответственного за устройство гармоничного общественного порядка¹. По собственной инициативе «всеобщий интеллектуал» исполнял завидную роль «совести нации». «Специфический», или «частичный», интеллектуал был иной фигурой. Он обладал значительным социальным весом не в силу претензии на некую всеохватность, но исключительно в силу специфической компетенции, которой был наделен.

¹ Этот термин может иметь и другой смысловой оттенок – всеобщность миссии «интеллектуала» была связана еще и с универсальностью интеллектуальных занятий, характерной для эпохи Просвещения. Самым расхожим примером «универсального ученого» в России может быть, конечно же, Ломоносов. На Западе фигуру Ломоносова дополняет, в частности, И. Кант, бывший не только «универсальным ученым», но и «универсальным преподавателем» (в Кенигсбергском университете он читал курсы по самым разным дисциплинам, в том числе по минералогии).

Образцовым воплощением «частичного интеллектуала» был, по мнению Мишеля Фуко, университетский преподаватель (сменивший писателя, литератора, который, в свою очередь, пришел на смену юристу). Как констатировал в свое время Фуко: «...писатель как лицо выдающееся начинает исчезать, а возникают преподаватель и университет, может быть, не как главные составляющие, но как “пункты обмена”, как исключительные точки пересечения. В этом, безусловно, и кроется причина того, что университет и преподавание становятся политически сверхчувствительными областями. А то, что называют кризисом университета, следует понимать не как утрату силы, но, наоборот, как приумножение и усиление его властных воздействий в среде многоликого сообщества интеллектуалов, которые практически все через него проходят и с ним соотносятся». [Цит. по: Фуко М. Политическая функция интеллектуала // Интеллектуалы и власть. Т. 1. М., 2002. С. 202.]

Но теперь, похоже, «интеллектуал» не только не претендует на сколько-нибудь значимую миссию в обществе, но даже не может сформулировать, зачем она нужна и в чем может находить подтверждение. Тем более не претендует он и на роль «совести нации» или «властителя дум». В итоге ему приходится довольствоваться заведомо подчиненным положением, причем подчиненным положением именно в «обществе знаний», которое, казалось бы, призвано было стать для него земным раем.

Деятельность в сфере услуг, таким образом, вовсе не стала продолжением интеллектуальной деятельности. Напротив, теперь, для того чтобы преуспеть, интеллектуал хотя бы отчасти должен превратить свои занятия в сервис наряду с гостиничным, ресторанным, туристическим, ассенизационным, развлекательным сервисом или любым другим видом подобной деятельности. Подобное положение дел не может не подтолкнуть к мысли о необходимости анализа того, как трансформировались общественные роли информации, знания, исследований и образования, никогда прежде не включавшихся в сферу сервисного обслуживания.

Именно это требует от интеллектуала невиданной мобилизации, когда рост его компетенции выступает непосредственной ставкой в политической и неполитической борьбе вокруг возможности поставить что бы то ни было под вопрос в жизнедеятельности человека и устройстве общества. Говоря иначе, никогда еще научно-исследовательская компетенция не была настолько дефицитной и никогда прежде рассмотрение бытия-в-мире не требовало такой поистине воин-

I ВВЕДЕНИЕ

ственной решимости¹. В современном мире нет ничего более радикального, чем последовательно развернутая и обоснованная теория...

¹ Обоснование зависимости общественно-политического значения социогуманитарной мысли от роста компетенции мыслителя стало теоретическим завещанием французского социолога Пьера Бурдьё, утверждавшего в своей последней публичной лекции: «В умах большей части образованных людей, особенно тех, кто занимается общественными науками, присутствует дихотомия, которая мне представляется совершенно губительной: раскол между *scholarship* и *commitment*, между теми, кто посвящает себя научной работе, используя научные методы и адресуя свои труды другим ученым, и теми, кто вступает в бой, вынося свои знания за пределы научного сообщества. Это противопоставление – искусственное. На самом деле нужно быть независимым ученым, который работает по правилам *scholarship*, для того чтобы производить ангажированное, легитимно ангажированное знание и вводить это знание в бой» [Бурдьё П. За ангажированное знание. 2001. http://scepsis.ru/library/id_544.html].

Глава 1

ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Самореализующаяся программа

Первый подробный эскиз европейской метафизики оказывается в то же время техническим чертежом, где подробно прорисовываются контуры человеческого в человеке. Поставив в зависимость от приобретения знаний обладание собственной «природой», человек превратил эту «природу» в первое высокотехнологичное изделие. Во вполне явной форме это выражено уже в «Метафизике» Аристотеля, где говорится о том, что стремление к обладанию знанием соответствует самой «природе» человека («Все люди, – утверждает Стагирит, – от природы стремятся к знанию» [*Аристотель*. Метафизика. 980a]).

В некий условный момент метафизический разум не просто вступил в симбиотические отношения с техническим разумом, но стал исходной и наиболее таинственной версией последнего. При этом технический разум принял обличье антропологии – науки, которая, с одной стороны, описывает человеческую «натуру», а с другой – нечто ей предписывает. Именно антропология явилась первой и одновременно главной технологией, сфера применения которой – наиболее прямым и непосредственным образом – касалась того, кто испытывает потребность в образовании. При этом возникновение метафизики из духа техники вовсе не являлось метафизическим процессом – с потаенными «предпосылками» и «основаниями».

Условия ее возникновения достаточно парадоксальны: знание как объект стремления не должно быть предметом прикладной заинтересованности, к нему самому нельзя относиться как к чему-то служебному, «техническому». С позиций **Аристотеля**, воспринимая, мы не только не действуем (*prattein*), но и не делаем ставку на деятельность (*praxis*). Впрочем, это тоже «дело техники»: нужно уметь получать пользу от запрета на получение пользы (проклами-

руя данный запрет, Аристотель заявляет, что восприятие приносит удовольствие независимо от прагматических выгод, которые с ним связаны). Метафизический разум с этой точки зрения представляет собой образцовую технику сокрытия технической оснастки.

Подобное сокрытие составляет предпосылку образовательной деятельности: для того чтобы обучать, передавать знания, необходимо иметь в распоряжении готовый код сокрытия процесса получения знаний. Более того, преподавание немислимо без подобного сокрытия. Одновременно глубоко запрятанными внутри ценностно-нормативной проблематики оказываются технические возможности. Эта форма сокрытия позволяет совершить особое превращение: техника видоизменяется в метафизику.

Метафизика возникла, чтобы гарантировать процесс передачи знаний, представляя его в виде беспрестанного продвижения от акциденций к сущностям. Однако опирающееся на метафизику образование не было самореализующейся программой. Функционирование образовательной системы в логике такой самоорганизующейся программы лишило метафизику прерогатив, связанных с контролем над сущностями, превратив эти сущности в экзотические ретроявления с прошедшим сроком годности.

Эпоха модерна обозначила замену сущностей трансформациями, поток которых символизировал ускользающее время. Постмодерн открыл перспективу превращения трансформаций в события, представив последние как явления, полностью освободившиеся от гнета сущностей.

Ин-формировать – значит не просто оперировать такими чистыми явлениями, но вызывать их систематическое воспроизводство. Отсюда следует, что информационная экономика основана, парадоксальным образом, на экономии производственного принципа, которая порождает множественные режимы чистой феноменальности.

В системе информационной экономики образование действительно начинает развиваться как самореализующаяся программа, но сталкивается с проблемой хронического дефицита смысла, заменяющегося мерцанием пустого экрана, и реальности, теряющей любые отличия от заурядного муляжа.

Выбраковка будущего

Вместе с выбором систем знания общество производит и выбраковку того будущего, наступление которого общество хотело бы

отсрочить, а то и вовсе отменить. Образовательные институты исполняют нормотворческую миссию: они не просто определяют, в каком будущем нам предстоит жить, но функционируют как предписания лучшего будущего. Само слово «образование» служит абстракцией процесса становления, обозначает собой квинтэссенцию социального времени. Как организованная совокупность институтов и практик «сфера образования» объективирует исторические возможности, которые имеются в распоряжении общества, программирует его стратегические риски и перспективы.

Акцентирование рыночной природы образования, превращение его в разновидность «услуги» отодвигает на задний план функции образовательной системы, связанные с конструированием и утверждением норм. Нормотворческая миссия образования вступает в конфликт с его существованием в качестве рыночного института. Из перспективы деятельности, целиком и полностью отвечающей велениям рынка, образовательная деятельность предстает утопическим предприятием, чем-то средним между социальным проектерством и борьбой с ветряными мельницами. Больше всего в образовании раздражает то, что оно воплощает собой идею социальной справедливости, вступающую в очевидный конфликт с демонстративной несправедливостью рыночных отношений.

Как сокрушается один из сторонников представления об образовательной системе как утопической зоне социального пространства: «Этой страны нет на глобусе. Там хорошо. Там все умны и талантливы, каждый имеет равный шанс выдвинуться и получать сообразно приложенным усилиям. Там можно подниматься все выше и выше по социальной лестнице, обоснованно рассчитывая на признание своих заслуг. Эта лестница – путь наверх, но, забираясь по ней все выше, мы попадаем *в никуда*.

Образование как идея, как нормативный идеал, как лучше или хуже профилированная идеология института – утопия, отражение несбыточных надежд на социальную справедливость. В меру сил общество либо содержит свою утопию как одно из лучших украшений своей идеологии и социальной политики, либо отбивается от своих утопистов...» [Филиппов А. Утопия образования. Отечественные записки. 2002. № 1. С. 24.]

Следуя этой постановке вопроса, образовательные институты имеют дело с тем, что не существует или по крайней мере чего еще нет. Несуществующее возвещает о себе в форме благих помыслов и добрых ожиданий, отражающих якобы самую суть намерений всех тех, кто занят образованием в качестве учителя или ученика. Сама возможность образования сводится при этом к прекраснотушной подмене действительности идеалом. Трудно сказать, чего в этой позиции больше: наивного заблуждения или сознательного искажения – ведь не только в бу-

дущем, но и в настоящем общество как реальность находится в зависимости от «утопии» образования.

«Утопический» статус образования позволяет относиться к нему как к чему-то необязательному, рассматривать как декоративный элемент общественной структуры, от которого при необходимости можно и отказаться. В рамках свершившейся подмены образование предстает основополагающим способом обретения таких вещей, как коллективная солидарность, равенство возможностей и творческая самореализация. Однако попутно всем этим вещам приписывается статус эфемерных объектов, который невозможно «ни пощупать, ни потрогать». Как-то забывается, что все эти «эфемерности» не просто гарантируют социальную реальность, но составляют самую ее суть.

Если исходить из рыночной логики восприятия образования как утопии, утопическим окажется и все общество – ибо не может существовать в реальности то, что не в состоянии воспроизводить условия собственного воспроизводства. Отсюда следует, что коллективная солидарность, равенство возможностей и творческая самореализация все-таки существуют на самом деле.

Но не в том смысле, что все это чудесным образом обретается в ходе процессов обучения, а в том, что сами образовательные институты не могут существовать без перечисленных «эфемерностей». Это значит, без творческой самореализации, равенства возможностей и коллективной солидарности невозможно и воспроизводство общества в целом – процесс, за который отвечает образовательная система.

Проблема, однако, заключается в том, что ставка на «предпринимательскую» модель образования означает блокировку принципов справедливости в процессе формирования собственного будущего. Если справедливость становится вредной иллюзией и перестает восприниматься как фактор социальной организации и самоорганизации, общество подменяет свое будущее новым сценарием переоткрытия естественного состояния. Признание основанного на идее справедливого мира образования утопичным обрекает нас повторять социал-дарвинистские вариации на тему растворения общества в природе. «Долой общество! Да здравствует Природа!» – вот что должно быть написано на знаменах тех, кто воспринимает образование как утопию, а справедливость – как несбыточную надежду.

Но это еще не все. Помышленное как утопия, образование лишается вполне реального места в пространстве общественной жизнедеятельности, а школьный учитель и университетский преподаватель утрачивают свое, опять-таки вполне реальное, положение в обществе.

Антиномии образовательной деятельности

Подчеркнем, применительно к образованию правильнее было бы говорить не о пресловутых «равных возможностях», которые уже имеются или которыми они якобы должны располагать, а о возможностях, которые находятся в распоряжении всего общества в целом. Это в буквальном значении слова реальные возможности, которые присутствуют здесь и сейчас. Причем отнюдь не в форме планов, гипотез и идеалов, а в форме институциональной структуры учреждений образования, которые работают, занимаясь подготовкой новых кадров. Отдельные вопросы состоят в том:

- а) каким образом, в соответствии с какими методами и методиками данная работа ведется;
- б) насколько она интенсивна;
- в) какие ее направления преобладают, а какие нет;
- г) каков общий уровень организации образовательной деятельности;
- д) насколько эта деятельность комплексна и многоступенчата;
- е) в какой мере и по каким критериям эта деятельность относится к числу «профессиональных занятий» и т. д.

И все же нас в данном случае интересует главное: понимание образования как «сферы» или «поля» приложения усилий, в рамках которых возможное приобретает статус реального.

По сути, наличие образовательных институтов и связанной с ними деятельности позволяет обществу решить проблему своей идентичности, избегая двух описанных **Никласом Луманом** [см.: Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества, 1991] тупиковых вариантов ответа на вопрос о том, что оно собой представляет. Речь идет о тавтологической самоаттестации по принципу: «Общество есть то, что оно есть» и о дополняющем ее парадоксальном признании: «Общество является тем, чем не является». Позволяя заниматься реализацией возможностей и воплощая соответствующую практику, образование придает самождественности общества процессивный характер по принципу: «Общество становится тем, чем не является». Одновременно в конечную инстанцию общественной реальности превращается деятельность, максимально обобщенная (или, по вкусу, «обобществленная») в рамках конкретной общественной формы.

Вместе с тем, избавляя нас от тавтологии и парадокса в описании общества, образование с трудом поддается описанию. Экзистенциальное прочтение образовательной практики восхо-

дит к канонической постановке вопроса, принадлежащей Платону, в соответствии с которой на протяжении всей нашей жизни мы учимся только одному: учимся жить, учимся умирать.

Однако сколько бы мы ни учились, мы не можем овладеть ни тем ни другим. Научиться жить, как и научиться умирать невозможно. При этом наше существование сводится к тому, что мы учимся учиться. К этому же сводится и образовательная деятельность, вся состоящая из подготовительных циклов обучения (каждый из которых предваряет и одновременно откладывает начало самого обучения). Иными словами, мы должны обладать некими знаниями, чтобы начать учиться, но, чтобы обладать этими знаниями, уже необходимо иметь подготовку, и так далее до бесконечности.

Поэтому оговоримся сразу: понимание единства реального и возможного как лейтмотива образовательной деятельности оборачивается многими затруднениями, в силу которых ей приписывают многие принципиально несовместимые задачи и функции. Каталогизируя их, можно наметить основополагающие характеристики образования, которые лучше всего выразить в форме антиномий.

Тезис	Контртезис
1. Образование обеспечивает модернизацию общества.	Образование способствует сохранению социокультурных традиций.
2. Доступ к образованию позволяет поддерживать общественную солидарность.	Доступ к образованию усиливает конкуренцию в обществе.
3. Образование выступает «социальным лифтом», наличие которого способствует вертикальной мобильности.	Образование блокирует вертикальную мобильность, ибо не обеспечивает повышения статуса для бедных, но способствует сохранению статуса богатых.
4. Образование консолидирует общество, поскольку получение определенного образовательного уровня общедоступно.	Образование атомизирует общество, поскольку общедоступность образования иллюзорна, а «хорошее» образование дорого.
5. Образование помогает стиранию границ между классами, потому что обеспечивает проникновение в высшие классы представителей низших классов.	Образование устанавливает новые границы между классами, поскольку, будучи инкорпорированными благодаря образованию в высшие классы, представители низших классов теряют связь со своей средой.

Тезис	Контртезис
6. Образование способствует равенству людей, хотя бы на уровне их стартовых социальных возможностей.	Образование усиливает неравенство, поскольку представляет собой «ресурс», не поддающийся равномерному распределению.
7. Образование дает возможность всестороннего развития личности и раскрытия всех человеческих способностей.	Образование препятствует всестороннему развитию личности, тормозит раскрытие человеческих способностей.
8. Образование позволяет уменьшить отчуждение.	Образование ведет к отчуждению.
9. Образование выступает инструментом утверждения гуманистических принципов в отношениях между людьми.	Образование выступает инструментом притеснения и сегрегации.

Каждая из перечисленных антиномий (имеются и другие!) может быть разрешена. Однако это решение будет «ситуативным», так как будет соответствовать определенному состоянию образовательной деятельности, но не будет отражать ее основной лейтмотив.

Это можно понять, приняв во внимание то, что, реализуя возможности, обращая их в реальность, образование воспроизводит и самое себя. Данный процесс, в свою очередь, предполагает обратное действие: реальность фиксируется и удостоверяется по тем возможностям, которые только намечаются – в форме обетования или проекта. Устойчивость системы образования отнюдь не измеряется ее готовностью иметь дело с тем, что уже есть, но, напротив, – только с тем, чего еще нет и что только может возникнуть.

Пьер Бурдье справедливо говорил о том, что образовательная система, как никакая другая социальная система, нацелена на собственное воспроизводство. Соответственно деятельность системы образования не может восприниматься отдельно от воспроизводственных процессов, которые в ней происходят.

Говоря иначе, не существует никакого «внешнего» порядка воспроизводства образовательной системы, которое было бы отлично от «внутренней», «имманентной» деятельности самой этой системы. Применительно к образованию, отвечающему за процесс общественного воспроизводства, подобная проницаемость границ «внутреннего» и «внешнего» дает о себе знать, быть может, даже более отчетливо, чем когда речь идет о других социальных институтах.

Глава 1 | **ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕАЛЬНОСТЬ**

Соответственно соединение возможностей с реальностью оборачивается в рамках существования системы образования постоянной инверсией того и другого. Это значит, реальность воплощается в возможностях лишь в той мере, в какой сама реальность уже содержит возможности, которые могут казаться нам как невероятными, так и легко достижимыми. Иными словами, реальность образовательной системы представляет собой реальность, которая, парадоксальным образом, уже содержит в себе то, чего еще нет. Для описания этой реальности антиномии не препятствие, а условие анализа.

Глава 2

ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ

Наследие Гумбольдта¹

Исторический процесс организации знаний, объективации представлений о мире и наделения смыслом познавательной деятельности невозможно понять без рассмотрения эволюции университетских структур, которая была ими пройдена от Средневековья до наших дней.

Университет и монастырь, который в значительной мере послужил его прообразом, имели ряд сходных черт:

- а) собственный устав, регламентирующий как внутренние взаимоотношения, так и контакты с внешним миром;
- б) стабильное место обитания с четко очерченными границами;
- в) ставку на особое избранничество;
- г) автономию, ограничивающую административное и идеологическое вмешательство;
- д) специфический дисциплинарный порядок, позволяющий регламентировать любые аспекты жизнедеятельности.

Синтез университета и монастыря выступает, в свою очередь, как образцовое социальное учреждение, из которого возникает новоевропейское государство, связывающее свое существование с принципом рационализации жизни и превращением подданных в граждан-субъектов.

¹ Гумбольдт, Вильгельм фон (22 июня 1767 – 8 апреля 1835) – немецкий общественный и государственный деятель, политический мыслитель, один из родоначальников современной лингвистики, специалист в области философии истории и теории эстетики, писатель. Известен как инициатор реформы прусской системы образования и создатель Берлинского университета.

В итоге то, что применительно к монастырю являлось предпосылкой служения Богу, в границах университета превратилось в предпосылку служения истине. Именно поэтому университет с самого момента своего возникновения был исследовательским. И не мог быть иным.

По мере того как университет все более автономизировался от Церкви, а наука все более дистанцировалась от теологии, истина принимала секуляризованную форму. Сначала в дополнение, а затем и вопреки истине божественного откровения создается образ истины, имеющей своим истоком и итогом человеческое существование и совместную деятельность людей.

Судьба истинного зависит отныне от усилий человека, а сама истина превращается в нечто буквально рукотворное. Обращаясь к вопросу об истине, человек не просто пытается выведать тайны окружающего мира, но ставит под вопрос и самого себя, и границы собственного «я», делая условием познания беспрестанное бдительное сомнение. Все более вооружаясь тем эвристическим арсеналом, который дарует ему экспериментальное познание, человек и самого себя незаметно превращает в предмет экспериментирования. Лейтмотивом этого всемирно-исторического эксперимента является усиление научно-технической мощи, которая и по сию пору выступает одновременно и предпосылкой прогресса, и вызовом, который вновь и вновь бросается человеческому существованию. Нет нужды дополнительно говорить о том, что в силу изначальной негарантированности прогресса этот вызов в любой момент может оказаться последним.

Вместе с тем, когда прогресс, превращающийся благодаря технике в некое подобие самореализующейся программы, начинает казаться априорной предпосылкой любых аспектов социального развития, под влиянием любых новоиспеченных технологических новшеств возникает огромный соблазн пересмотра любых атрибутов человеческого в человеке. Воля к технологическому обновлению оборачивается волей к технократическому управлению, приверженцы с легкостью готовы расстаться с любыми сложившимися ранее формами человеческой идентичности.

Золотым веком университетов, когда они в наибольшей степени соответствовали понятию исследовательских, можно считать их существование в рамках так называемой гумбольдтовской модели. «Гумбольдтовская модель» характеризуется особыми принципами: чем тверже они соблюдаются, тем больше университет соответствует своему назначению в качестве научно-образовательного учреждения. Сами эти принципы являются не только теоретическими, но и практическими, вопло-

шая конкретную рецептуру сохранения институциональной полноценности. Не случайно основным является принцип университетской автономии, тесно сопряженный с идеей науки ради науки, которую, однако, провозглашают не исследователи, а их символические представители – преподаватели. Вся деятельность последних выступает субститутотом исследования, но вместе с тем именно они, выступая не вполне легитимными репрезентантами исследователей, узаконивают систему образования таким образом, что любое сомнение в ее компетентности требует подтверждения от самой этой системы.

«...Институт Школы, – пишет Пьер Бурдьё, – предстает перед ними в лице профессоров, *lectores*, которые комментируют и излагают произведение, созданные другими, и, следовательно, чье собственное производство, даже если оно не предназначается непосредственно для преподавания или непосредственно не вытекает из него, обязано многими своими характеристиками их профессиональной практике и той позиции, которую они занимают в поле производства и циркулирования культурных благ. Все это подводит нас к тому амбивалентному отношению, которое производители испытывают к власти Школы. ...Все же вердикты, безусловно, заменяемые и пересматриваемые, которые выносят университетские инстанции, не могут не вызвать интереса производителей, поскольку те знают, что за этой инстанцией остается последнее слово и что в конечном счете высшее признание они могут получить только от одной этой власти, чью легитимность они оспаривают всей своей практикой и всей своей профессиональной идеологией, не затрагивая, однако, ее компетентности. Бесконечные нападки на систему образования свидетельствуют, что нападающие признают легитимность ее вердиктов в мере, достаточной для того, чтобы упрекать ее в непризнании их имен». [Бурдьё П. Рынок символической продукции. <http://bourdieu.name/content/chast-pervaja>]

Гумбольдтов университет как средоточие Школы в широком смысле слова выступает, помимо прочего, инстанцией *театрализации* познания, без которой оказывается невозможной трансляция знания от поколения к поколению. Но главное, что эффект делегирования функций от ученого к преподавателю (даже если в реальной жизни это одно и то же лицо) превращает университет в аутореферентную структуру, в буквальном смысле работающую на себя, на собственное воспроизводство. Такого рода университетская аутореферентность открывает возможность *универсализации* воспроизводственных процессов, которая характеризует общество эпохи модер-

на. Актерство преподавателей, театрализирующих исследовательскую деятельность, наиболее четко проявляется в модели гумбольдтова университета. Однако именно это актерство становится условием возникновения системы социального воспроизводства, основанной на принципе всеобщего исторического участия, пришедшей на смену сословно-цеховой системе регламентированных прав на причастность к вечности.

Кризис гумбольдтова университета означает также и кризис всего распорядка жизнедеятельности, основанного на равноправной принадлежности к истории. Олицетворяемая университетом идея равноправного исторического участия переплетена с идеей общности исторической судьбы, которая, в свою очередь, связана с идеей империи.

Классический университет представляет собой не просто государство в государстве, а империю, инсталлированную вовнутрь национально-государственной системы. Разумеется, это особенная «символическая», а не военно-политическая империя. В отличие от последней она не разворачивается вовне, а сворачивается вовнутрь.

Однако это только усиливает остроту ее взаимодействия с национальным государством, целиком переведенного в область символического насилия. Собственно, все современные технологии *soft-power* берут начало именно в этом потаенном и незаметном на первый взгляд соперничестве классического университета и национального государства.

Это противоборство порождает многочисленные мифы о подлинной империи как империи знаний – академической Касталии. При этом именно академическая Касталия с лежащим в ее основе принципом универсализации знания выступает идеальным способом организации военно-политических империй, непосредственно зависящих от производства единого и всеобщего взгляда на мир. Говоря иначе, империи нуждаются в универсализации знания, которая производится на основе и в рамках агломерации общих аспектов культурной и пространственной экспансии. В итоге универсализация знания соотносится с его организацией по модели «центр – периферия», в которой культура мыслится как две взаимодополняющие перспективы: иерархическая субординация и размещение в «большом пространстве». Интеллигентский этос содержит в себе упование на возможность противопоставления университетской империи символических форм военно-политической империи захватов и набегов. Это выражается в академическом ригоризме и фундаментализме научной компетенции, когда кастовость профессионалов

знания делает их власть одновременно жреческой и вызывающе аполитичной¹.

Огосударствление университета

В рамках универсализации образовательной деятельности университет достиг очень многого: сделал ставку на «чистый разум», полностью сконцентрировался на поиске научной истины, обеспечил автономию ученого-интеллектуала, создал (под эгидой философии) целостную систему знаний, превратил в условие и цель познавательной деятельности эвристический универсализм.

Одаривая общество принципом всеобщего исторического участия, гумбольдтов университет воплощает унифицированную систему производства кадров, которая выражает собой результат длительного процесса укрупнения и монополизации машинерии социального воспроизводства. Однако у этого процесса есть и свои издержки: сколько бы кадров ни производилось в рамках системы универсализованного образования, обществу они достаются лишь в результате перепроизводства, как побочные продукты. Возникает парадокс: универсализация образования в рамках гумбольдтовой образовательной системы означает его обобществление в рамках национального государства, однако университет одновременно оказывался инстанцией, более масштабной, чем само общество (отсюда и знаменитый принцип университетской автономии).

Иными словами, в системе воспроизводства, унифицированного университетом, государство получало кадры, заведомо подготовленные по остаточному принципу, в его распоряжении оказывались лишь «несостоявшиеся профессора». В качестве воспроизводственной инстанции, поставленной на службу всему государству, университет, организованный в рамках гумбольдтовской модели, оказался недостаточно эффективным. Университетская истина вступила, таким образом, в

¹ Формы интеллигентского этоса, воплощающие наиболее высокий градус изолганности, основаны на сочетании подозрительности по отношению к европейской академической кастовости, в которой видят наследие «моноэтнического империализма», с восторгом по отношению к американскому академическому бриколажу, прекрасно декорирующему глобалистский военно-политический империализм Соединенных Штатов [см., например: *Надточный Э. Паниковский и симулякр*. 2000. http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_4/03.htm].

противоречие с государственными потребностями. Эта институциональная коллизия приняла форму знаменитого этико-политического конфликта *ценностей* и *интересов*.

Итак, университет, возникший и существующий по гумбольдтовской модели, выступал институциональным феноменом, который не только существовал параллельно государству, но и был наделен большим количеством измерений реальности, чем оно само. Ответом государства было создание университетов, ориентированных на достижение национально-патриотических целей, связанных прежде всего с подготовкой государственных кадров. К последним прежде всего относились активно формирующаяся бюрократия и разного рода социальные работники: учителя, врачи и т. д. Университеты, взявшиеся за подготовку этих кадров, превращаются в элементы государственно-правовой машины, самым непосредственным образом отвечающие за ее воспроизводство и пополнение новыми «детальями».

Вплоть до начала XX века функции университета как элемента государственной машины менее значимы, нежели его функции как самостоятельной институциональной структуры, унаследовавшей некоторые стороны широкомасштабной автономии, которой вплоть до эпохи Нового времени была наделена Церковь. Секуляризация познавательной деятельности не только не препятствовала тому, что университет выступал в этом вопросе своеобразным наследником Церкви, но, наоборот, способствовала данному процессу. При этом образовательная система:

- а) придавала системный характер изменениям;
- б) преобразовывала тактические решения в стратегические подходы;
- в) генерализировала деятельность отдельных действующих лиц и/или институтов;
- г) открывала обществу возможность самонаблюдения;
- д) возводила рефлексивный мониторинг социального бытия в ранг условия осуществления повседневной политической практики.

Превращение университета в составляющую национально-государственной структуры происходило лишь в рамках принятия специфических условий, когда он оказывался своеобразным государством в государстве. Эти условия были продиктованы государством лишь после того, как сам университет оказался в состоянии предопределить свою современную форму. Претендуя на полный контроль над умами и сердцами, государство позаимствовало у университета техники дисциплинарного воздействия, способные превращать составляющие

социальной дисциплины (муштру, заучивание, повторение и т. д.) в предпосылки ментальной дисциплины. То есть в предпосылки устраивающего государственные органы порядка в головах своих граждан.

Окончательное огосударствление университета становится возможным только тогда, когда он добровольно отказывается от миссии государства в государстве и мыслит себя лишь в качестве одной из корпораций, обладающей равным статусом со всеми остальными.

Так происходит и в тех случаях, когда само государство доволствует скромной миссией корпорации: первой среди равных. Даже при таком, казалось бы, вполне благостном раскладе университет перестает выступать инстанцией, ответственной за постижение истины. Напротив, он начинает представлять как специфическое образование, связанное с интеллектуальным сервисом, культурным досугом, духовной рекреацией и даже физическим воспитанием.

С этого момента такие возможные характеристики современного университета, как:

- а) впечатляющие архитектура/интерьеры;
- б) технологическая оснащенность;
- в) инвайроментальная эргономика;
- г) экономическая успешность;
- д) политическая корректность,

начинают превалировать над теми качествами, которые со времен фон Гумбольдта считались его традиционным достоянием¹.

Речь идет о таких вещах, как дидактика и научный поиск, связанных, опять-таки со времен Гумбольдта, узлами продуктивного симбиотического союза. С одной стороны, данный симбиоз предполагал, что научить можно, только привлекая к исследованиям, результат которых, скорее всего, непредсказуем, а финал – наверняка открыт. С другой стороны – в рамках данного симбиоза невозможна иная постановка вопроса, кроме той, что осуществлять исследования можно, лишь постоянно обучая и беспрестанно обучая других.

Ко второй половине XX столетия в западном университетском сообществе (и только к началу XXI века у нас) произошли процессы, настолько отдалившие университеты от идей фон Гумбольдта, что теперь эти принципы в лучшем случае могут показаться идеалами, а в худшем – утопиями.

¹ См. об этом, в частности: *Покровский Н.* Корпоративный университет: утопия, антиутопия или реальность? <http://old.russ.ru/culture/education/20040805-pr.html>

Это стало ясно уже тогда, когда в связи с университетской реформой в Федеративной Республике Германии 50-х годов прошлого века не удалась попытка реанимировать принципы гумбольдтовского университета, предпринятая знаменитым философом и психологом **Карлом Ясперсом**.

Несколько позже романтическая надежда на возможный ренессанс подходов фон Гумбольдта была подвергнута острой критике со стороны немецкого социолога **Юргена Хабермаса**. Хабермас выступил против сословной идеологии университетских «мандаринов», претендующих на то, чтобы мыслить универсалиями, и заявил, что их место давно занято не менее могущественным сословием «экспертов», владеющих специфическим, узкопрофессиональным знанием, которое не может быть объединено в некую всеобъемлющую систему.

Философия корпоративного университета, готовящего узких профессионалов, которые ориентированы не на универсалистское, а на экспертное знание, более всего соответствует представлениям испанского мыслителя и публициста **Хосе Ортеги-и-Гассета**. Кредо Ортеги-и-Гассета состояло в том, что университет должен давать высшее образование среднему человеку. По мнению испанца, у среднего человека нет никаких причин становиться ученым: «...Наука, – как писал Ортега, – не является прямой и базовой функцией университета и без особых причин не должна являться таковой».

Говоря иначе, Ортега пытался доказать то, что в его время еще выглядело скандальным выпадом, а сейчас воспринимается как привычная постановка вопроса. (Привычная настолько, что кажется не имеющей конкретного авторства.) «Знать, – отмечал Ортега, – не означает исследовать. Исследовать – значит открывать истину или ее противоположность, находить ошибку в предшествующих поисках. Знать – это просто понимать эту истину, владеть ею». И продолжал: «Стремиться к тому, чтобы нормальный студент был ученым, – это пока что нелепая претензия, которая только свидетельствует о скрытом пороке утопии, характерного для предшествующих нам поколений».

Осуществленное в теории изъятие исследовательской компоненты из процесса обучения обозначило ставку на полный разрыв с гумбольдтовской моделью организации университета. На практике это совпадало с бюрократической формализацией учебного и научного процессов. Бюрократическая формализация происходит под знаком двух утрат. Первая связана с тем, что у научно-педагогического сообщества оказалось размыто представление об университете как о центре, где вершится познание истины. Вторая касается уже самой истины, которая, переставая быть университетской, не претендует более стать универсальной.

Глава 3

ЭКСПЕРТОКРАТИЯ

Говорят о сказанном, пишут о написанном, мыслят о подуманном – мы живем в мире, где знаки давно утратили прозрачность и вступили в эру хронического перепроизводства. Вещи в нашем мире напрочь позабыли о своей невинности, являя себя лишь в форме разнообразных спекуляций. Слова же, напротив, оплыли и погрузнели, исподволь заняв место вещей.

Экспертократия – это в первую очередь режим существования, связанный с детерминациями овеществленных слов. Пространство нашей реальности организовано как вместилище некогда произнесенных и реифицированных впоследствии слов¹,

¹ Особая роль в этой реификации принадлежит социальной теории и общественному в целом, которое исследует систему возможностей овеществления слов, и уже тем самым все больше инвестирует себя в постоянное расширение этих возможностей. Подобная ставка содержится, к примеру, в социальной эпистемологии Бурдье, который достиг максимальной отдачи от интеллектуальных инвестиций и экспертократической политики, построенных на обсуждении вклада социологии в трансформацию социальной реальности: «...Слова социолога способствуют производству социального. Социальный мир все более и более населяется реифицированной социологией. Социологи будущего (но это относится уже и к нам) все больше будут открывать в изучаемой ими действительности осадочные продукты от работ своих предшественников. Понятно, что социолог заинтересован в том, чтобы взвешивать свои слова. Но это еще не все. Социальный мир есть место борьбы за слова, которые обязаны своим весом – подчас своим насилием – факту, что слова в значительной мере делают вещи и что изменить слова и, более обобщенно, представления (например, художественные представления Мане) значит уже изменить вещи. Политика – это, в основном, дело слов. Вот почему бой за научное всегда должен начинаться с борьбы против слов». [Бурдье П. Оппозиции современной социологии. 1996. <http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/04/24/0000275544/004Burde.pdf>]

многовековые залежи которых превратились в род сырья, подобно тому, как остатки доисторической растительности превратились в углеводороды. Тип экономики, с которой связан режим экспертократии, – сырьевая экономика, построенная на отношениях ренты. (Нет нужды объяснять, чем исходя из этого оказывается экспертократический режим для России.)

Эксперткратическая власть представляет собой стратегию систематического овеществления слов, которые становятся более весомыми, чем сами вещи. Деятельность экспертократов связана:

- **во-первых**, с приданием словам статуса вещей, которые даже более материальны, чем другие материальные объекты;
- **во-вторых**, с систематической и осознанной борьбой за слова, которые могут менять и отменять вещи;
- **в третьих**, с помещением политики и всей человеческой жизнедеятельности в царство вербальности;
- **в четвертых**, с установлением круговой поруки слов, которые обретают вещественный статус лишь при условии строгого соотнесения друг с другом, но не с каким-либо референтом.

Культ экспертной оценки маскирует обесмысливание нашего существования, вызванное тем, что работа новоевропейских представительских институтов сделала технологическим проектом любую общность, превратила в обременительный символ солидарность, свела к сумме алгоритмов создание коллективов и групп. Экспертные суждения и суммирующие их опросы, кажется, только оттеняют смыслодефицит нашей жизни.

Причина этого кризиса проста, но не очевидна. Как и в экономике, в интеллектуальной деятельности поменялись ставки. В результате кого бы то ни было перестало интересовать производство – будь то производство машинных технических устройств или производство того, что можно назвать техниками самосозидания (относящимися не только к отдельному индивиду, но и к обществу в целом).

Пресловутый постмодерн – не эпоха или умонастроение, а особое состояние человеческой практики, организованной в соответствии с императивом десубстанциализации. Образцовый пример – «постмодернистская экономика», десубстанциализирующая производство. Десубстанциализация, осуществляемая экспертами, – это десубстанциализация знания. Знаний становится все больше и больше, однако смысла в них – меньше и меньше. Точнее, они все меньше сопряжены с каким-то смыслом. Единственной легитимной формой интеллектуальной деятельности становится интеллектуальный сервис.

Именно поэтому современная культура экспертизы фактически является сервисной культурой. Как и любая культура, она держится на особом культе – в данном случае это культ обесмысливания самого смысла. Полагая себя смыслократом, эксперт выступает фигурой, развеивающей по ветру «сокровище» знания, которое перестает управляться логикой всеобщей экономики дарообмена и превращается в обыкновенное товарное тело, находящееся в ведении специфической экономики.

Даже с момента окончания XX века служебные функции эксперта претерпели весьма значительную эволюцию. До наступления эпохи интеллектуального сервиса он просто тестировал знания на наличие в них смысла. После наступления этой эпохи он постепенно приходит к полной бессмысленности знаний.

Эксперт как оценщик

Эксперт (от лат. *expertus*) – опытный. В русском языке слово «эксперт» синонимично словам «знающий», «сведущий», «осведомленный». Компетенция эксперта заключается в обладании сведениями, что предполагает также и суммирование, сведение знаний. Говоря определеннее, профессиональная деятельность эксперта связана с обобщением и предъявлением обобщенного.

Продукт и одновременно способ организации его усилий – экспертиза. В переводе с французского это «практика вынесения суждений» по разным поводам. Их отличительной особенностью, во-первых, является то, что они соотносятся с некой подчеркнута уникальной («узкой») специализацией, а во-вторых, то, что эксперт демонстрирует не столько знания, сколько умение формировать особое мнение на их основе.

Итак, эксперт предъявляет обобщенное мнение, но обобщение и предъявление этого мнения подразумевают постоянную апелляцию к уникальности. Чем уникальнее способ обобщать и предъявлять обобщенное, тем больше соответствует эксперт своему статусу. И тем выше статус самой экспертизы.

Понятием, контекстуально сопряженным с экспертизой, является понятие оценки. Эксперт сведущ в ценностях, ему ведомы их цена, и он мастер переоценивания. В этом смысле суть экспертной деятельности состоит в поддержании/изменении котировок определенных форм, аспектов и атрибутов знания. Эксперт знает, прежде всего, какое знание ценится. Не в мень-

шей степени он осведомлен о том, с какой стороны его нужно подать, чтобы оно было оценено. И прежде всего эксперт проявляет себя в том, до какой степени и каким образом те или иные знания стоит ценить. Если мнение эксперта сопряжено лишь с предъявлением знаний – он профан, хуже того, шарлатан. Именно поэтому с деятельностью эксперта неизменно связан особый риск – не прослыть шарлатаном. Для того чтобы не превратиться в собственную противоположность, эксперту необходимо не только проявлять осведомленность. Ему нужно показывать, какими знаниями нужно обладать, а какими не стоит.

Форма демонстрации при этом не должна быть слишком «демонстративной» – и тем более нарочитой. Напротив, чем незаметнее проводится отделение нужного от ненужного, тем выше профпригодность человека, занимающегося экспертной оценкой. С этим разделением (поистине «Divide et impera») и связан феномен экспертократии. То, что мы сообщаем, и есть то, что вам необходимо знать. Все остальное знать можно, но не нужно. Информация, лишенная статуса необходимой, не может считаться полноправной формой знания. Напротив, на нем всегда лежит печать необязательности и недостоверности.

Эксперт как судья

Наиболее тесная связь у экспертизы с правом. Эксперт – важная фигура на суде или во время проведения следствия. При этом он никогда не является тем, кто непосредственно занимается принятием юридического решения. *В области политики все иначе.* Именно здесь эксперт выступает в роли арбитра, именно здесь он оказывается лицом, которое судит.

Судейская миссия эксперта в политике совпадает с той политико-правовой ролью, которую он играет в рамках познавательной деятельности. Будучи образцовым политиком от познания, он является не менее образцовым судьей в области определения того, чем должно считаться знание, и чем его не должно считать.

Как следствие наиболее полно экспертиза выражает себя в калькуляции релевантности информации. Именно в процессе этой калькулирующей практики информация и превращается в ресурс (или, как принято говорить после П. Бурдье, «капитал»). Компетенция эксперта связана с возможностью изрекать: «Это к делу относится, а это не имеет к нему ни малейшего отношения».

Таким образом, процедура выявления релевантных информационных единиц (и объединения их в кластеры) полностью совпадает в данном случае с процедурой вынесения эстетической оценки.

Более того, экспертный анализ является превращенной формой политэкономического анализа: экспертиза представляет собой политэкономии познавательных (и познаваемых) ценностей. При этом эксперт дальше всего хотел бы отстоять именно от эстета. В отличие от последнего он не ограничивается распространением эстетики на область характеристик («нравится – не нравится»), а простирает ее существенно дальше – на область интересов («достойно внимания – недостойно внимания») и даже понятий («должно быть сформулировано – не должно быть сформулировано»).

Мера профессиональной виртуозности человека, осуществляющего экспертизу, определяется способностью к спонтанной категоризации чего-то неожиданного, непредсказуемого, «из ряда вон выходящего». Будучи специалистом по части работы со «специфическим», эксперт по факту профессиональной принадлежности обязан демонстрировать опыт спецификации. Обязательное для эксперта «знание предмета» есть именно предъявление опыта соединения общего и особенного. С одной стороны, это общие проблемы, которые требуют уникальных решений, с другой – уникальные цели, которые можно реализовать только на основе общих подходов.

Исходя вышесказанного, опыт эксперта есть не что иное, как опыт игры со всеобщим и особенным. Наиболее существенный практический навык этой игры сопряжен с одновременным признанием всеобщности прецедентов и прецедентного характера всеобщего. Возникает парадокс. Для эксперта неизменно существуют только «случаи», «события» и «ситуации». Однако они никогда не существуют сами по себе, тем более не возникают по собственному произволу. Напротив, область их пребывания вполне конкретна – они фигурируют в голове самого эксперта. И обретаются там совсем неспроста. По меньшей мере для того, чтобы подтвердить статус его опыта. А также, чтобы подтолкнуть к выводам: «не случайным», «закономерным» и лишенным всякой «конъюнктуры».

Эксперт как проводник

Самое важное в деятельности эксперта заключается в умении имплантировать мнение в само знание. Это отнюдь не равносильно тому, чтобы просто подменить знание мнением или све-

сти первое к последнему. Ничуть не бывало. Напротив, эксперт неизменно представляет себя в качестве жреца познания, который самоотверженно отстаивает его прерогативы. Однако лишь определенного познания. Познания, полностью контролируемого экспертом. Что означает этот контроль? Прежде всего – возможность устанавливать границы и формы применения знаний. Это накладывает на последние некий неустрашимый отпечаток. Если эксперт и является «жрецом», то в первую очередь жрецом операционализации результатов познавательной деятельности. Благодаря ему знания превращаются в инструмент, начинают функционировать, «работать». Благодаря ему формула «знание – сила» из декларации превращается в руководство к действию.

Вместе с тем эксперт жестко отсекает такое знание, которое лишено функциональности, т. е. не может быть инструментализировано.

Не подвергающееся инструментализации знание не может стать ни ресурсом, ни капиталом. Это знание не способно выступить в роли «информации для размышления», его невозможно «принять к сведению». Фактически это означает, что отвергается любая звристика, итоги которой не могут быть выраженными в виде информации, сведены к сведениям.

В рамках экспертизы подобная эвристика заведомо лишена прав на существование. Более того, для эксперта ее как бы и не существует.

Отличать «работающие» разновидности знания от «не работающих» эксперт может, доверяясь профессиональной интуиции (и одновременно совершенствуя ее в самом процессе различения). Однако признавать «неработающее» знание не существующим (и тем более не имеющим прав на существование) он может, следуя уже готовому мнению. Обладание последним равносильно подтверждению профессионализма. В случае с проведением экспертизы непрофессионалом рискует выглядеть тот, кто не имеет такого «особого» мнения – по поводу то, чего не следует знать.

Итак, человек, осуществляющий экспертизу, – это не профессионал в области знания чего бы то ни было. *Его не интересует возможность знания как такового – это скорее компетенция философа.* Нельзя даже сказать, что эксперта интересует некое стоящее, «позитивное» знание – это удел ученого. Эксперта интересует знание, которое можно заставить ценить, т. е. можно сделать стоящим. Если эксперт и определяет что-то, так вовсе не то, что можно и/или нужно знать, а то, что знать не нужно. Он специалист не в знании, а в незнании. Причем специалист практикующий – поскольку его власть состоит в том, чтобы объявлять нечто неважным, несостоятельным, никчемным.

Выступая проводником из мира бессмыслицы в мир смысла и обратно, именно эксперт ведает вопросом объявления чего-либо несуразницей и чепухой, блефом и лжеученостью, пустотой и тарабарщиной [обо всех особенностях идентификации этих замечательных предметов см.: *Франкфурт Г. О брехне. 2008*]. Короче говоря, специфическая компетенция эксперта состоит в том, что он лучше других осведомлен, кому (и когда) можно, а кому нельзя заявить: «Вон из профессии!»

Эксперт как сценограф

Эксперт никогда не существует в одиночку. Мнение эксперта никогда не является «частным». Напротив, экспертное мнение неизменно предстает самой возможностью мнения как такового. И «частного», и «общего».

С одной стороны, вывод эксперта неизменно заключается в том, что «двух мнений быть не может». С другой стороны, этот вывод содержит в себе претензию на то, чтобы конституировать некую общность мнений. Из которой может вырасти любая «частность».

Предпосылкой генезиса общности мнений выступает особое притязание эксперта. Специализация выступает для него не препятствием, а условием многознания. И это совсем не тот случай, когда многознание «прибавляет скорби». Совсем наоборот. Мнение о том, чего не стоит знать, автоматически гарантирует правильность того, что уже известно. А значит, выступает «естественным» условием монополии на известное знание. В ситуации этой монополии не обязательно постоянно изрекать истину. Достаточно снабдить себя умением превращать в истину все, что ты изрекаешь. Вывод эксперта безусловно связан с его выбором. И этот вывод может быть сколь угодно ошибочным.

Однако настоящая ошибка эксперта может заключаться только в том, чтобы заблокировать для себя возможность выбирать. Ибо одна любая наперед взятая экспертная оценка возникает как условие целой системы оценок, структурно связанных друг с другом. Более того, несколько друг друга не исключают. Представляя некую оценку, эксперт открывает пространство мнений, каждое из которых – хотя бы до какой-то степени – является безошибочным. Поставит он на одно мнение или на другое, в данном случае уже не имеет значения.

Более того, сохраняя возможность маневра, т. е. все ту же возможность выбора, человек, осуществляющий экспертизу, минимизирует ошибочность мнений. Ставшая притчей во языцех ангажированность эксперта есть не что иное, как обозначение неизбежности такого маневрирования. Формулой последнего является умение с легкостью переходить от дескриптивных, описательных суждений к перформативным, предписательным. Минимизируя риск ошибки, эксперт совершает постоянную подмену одних суждений другими. Описывая, он предписывает. Однако допустим, что предписание по каким-то причинам не может состояться. Тогда эксперт констатирует, что он «всего лишь» эксперт, *человек описывающий*. Описания же только выигрывают от того, что в них заранее предусматривается момент возможной погрешности. Именно так они оказываются снабженными презумпцией точности, а сам эксперт – возможностью прослыть еще более сведущим.

Важное отличие эксперта даже от тех, кто просто обладает мнением, заключается в том, что он выступает наиболее легитимным производителем мнений. Это следует уже из того, что именно экспертные оценки либо никогда не воспринимаются как мнения, либо рассматриваются в таком качестве в последнюю очередь. Настоящее мнение есть мнение наиболее действенное. Оно обладает мобилизационными возможностями. И, по сути, сразу возникает как общее. Но общее мнение – всегда больше, чем мнение. Это то, с чем мы свыклись до такой степени, что даже не можем воспринять в самом качестве мнения. Речь идет о системе оценивания, которая сама оценке не подлежит. Понятое подобным образом мнение не просто составляет часть нас самих. Оно выступает той частью нас, которая ответственна за наши представления о мире и о себе. Конечно же, в этих представлениях есть очень большая доля театральнойности. И необходимо признать, что именно экспертное знание оказывается ответственным за их сценическую постановку. Более того, производить общественное мнение можно, лишь занимаясь организацией человеческих представлений.

Эксперт как агент цинического разума

Суть противоборства эксперта с профессором и академическим исследователем в том, что последние, точно так же, как и он, претендуют на монопольное обладание *циническим разумом* и стратегическую *социопатию*. «Современный цинизм, – пишет

автор «Критики цинического разума» П. Слотердаjk, – подает себя как состояние сознания, которое следует за навинными идеологиями и их Просвещением. В нем заключается действительная причина сенсации, состоящей в том, что критика идеологии выдохлась. Она осталась более наивной, чем то сознание, которое она хотела разоблачить... Современный циник – это интегрированный в общество антиобщественный тип... Инстинктивно он воспринимает свой способ существования уже не как что-то злобное и ехидное, а как причастность к коллективно-реалистически скорректированному взгляду на вещи. Это манера, распространенная у всех просвещенных людей, – *поглядывать, как бы не показаться глупее всех* (выделено мной – А. А.). [Слотердаjk П. Критика цинического разума. Екатеринбург, 2001. С. 25–27.]

Генезис как экспертного, так и профессорско-академического мышления связан сегодня с идеей Просвещения, которая ополчилась против самой себя, сочтя наивными самые важные свои процедуры: *критику и сомнение*. При этом, избирая в качестве своего носителя интеллигенцию, профессорско-академическое мышление обрекает себя на реактивность и запаздывание по отношению к экспертному мышлению. Интеллигентское отношение к жизни предполагает избыточную рационализацию цинического разума, в которой угадывается пораженческая стыдливость¹. В противоположность интеллигентскому

¹ Особую роль в исследовании фигуратива цинического разума играет блоггинг, в особенности, блоггинг интеллектуальных профи. Именно для ни Живой журнал и подобные ему сервисы играют роль не абстрактного «бессознательного», а коробочки со спорами рессантиментных неврозов. Интеллектуалы нередко выставляют себя дон-кихотами мысли, готовыми сражаться за её достоинство с ветряными и любыми прочими мельницами. На деле оказывается, что предмет их враждебных атак лишь они сами, точнее, их невротические проекции. Рессантимент зашкаливает, обрекая интеллектуалов на впадение в наиболее банальную из иллюзий: *они начинают ненавидеть другого (других) за то, что ненавидят себя (или за то, что они ненавидят в себе)*.

Мало того, что это безвыигрышная игра, она ещё и выдаёт себя за универсальную форму духовной практики. Наиболее духовным оказывается занятый упомянутой игрой тип советского «постинтеллигента», когда начинает говорить о «бабле-благедобре» и коммерциальном измерении символического производства. И только попробуй даже полунамеком поставить под вопрос легитимность экономических метафор: духовность прольётся смердящим гноем. Излюбленный стиль аргументации в данном случае – «сам дурак» – выворачивает наизнанку основной страх ненавидящих себя.

По нашему скромному мнению, настоящий интеллектуализм замешан на циническом разуме, в том виде, в каком его понимает Слотердаjk: любые псев-

этому экспертократическая стратегия мироустройства *предполагает циническое отношение и к самому цинизму*¹.

Интеллигентский цинизм соотносится с экспертократическим цинизмом, как режим ограниченного обращения интеллектуального капитала с режимом его неограниченного обращения. Хитрость экспертного разума состоит в том, что произведенные им мнения дефицитны, однако производятся всегда с избытком. В этом суть экспертократического цинизма: экспертократия представляет собой код, одновременно скрывающий и демонстрирующий произведенность экспертных оценок. В их волшебной «произведенности» состоит сегодня бытование истины как несокрытости, о которой писал Хайдеггер. Экспертократия тождественна системе интеллектуальной машинерии; она не основывается на труде, объединяющем сумму индивидуальных усилий. Суждение мыслится как объективный результат производственной деятельности – абстрактной и всеобщей. Пережив «смерть автора», оно не подчиняется более никакому принципу авторства. Однако любая стратегия экспертократии воплощает также и личный стиль избавления от «все-го личного» (характеризующего собой любой вид бизнес-деятельности).

Идеология экспертизы, зафиксированная в ее коде, есть идеология деидеологизации. Речь не идет о деидеологизации как сциентистском и технократическом тренде 60–70-х годов прошлого века, придуманном как первое и довольно прямолинейное оправдание «постиндустриализма». Деидеологизация – это в данном случае сведение представлений к ощущениям, практический сенсуализм рассудка, не просто поставившего на сентиментальное познание, но воспринимающего мир как те-

докритические уловки с разоблачением ложного сознания оказываются убожеством по сравнению с подлинной деятельностью воображаемого (о том же, кстати, недавно написал и К. Крылов – реальность требует воображения, иллюзии его не допускают). Категория современных «постинтеллигентов» совсем другая: все, что они делают, определяется словосочетанием «морочить голову», причем не столько даже другим (это еще можно как-то понять), сколько именно себе. Это своего рода профессиональное занятие такое – морочить себе голову, – и отдаются они ему с большим чувством, а также с толком и с расстановкой. В итоге интеллектуальная деятельность становится синонимом смехотворной игры в разоблачения, выигрыш в которой предполагает очередное повышение ставок самообмана. Главное, чтобы плод самообмана мог показаться *реальнее самой реальности*.

¹ Примечательная манифестация интеллигентского этоса, сконцентрированного на сохранении идеалов науки XIX века, содержится в тексте: *Крылов К. Наука и кризис. 2007.* <http://www.apn.ru/publications/article17507.htm>

атр своих чувств. Представления сводятся к ощущениям в той мере, в какой ощущения выражают предельную репрезентативность и заполняют собой горизонт представимого. Именно поэтому экспертократическая деидеологизация выступает идеологией, открывающей каркас brutальной самодостаточной чувственности, вечной ровно в той степени, в какой она обречена на банальность и постоянные обновления (из года в год повторяющаяся тема «новой искренности»).

Экспертотократия создает царство пластичных констант, целлюлоидных героев и эластичных трансценденций. По сути, экспертократическая практика есть практика помещения границ между внутренним и внешним вглубь ощущений и изъятия их из области априорного созерцания. Эксперт притязает на то, чтобы указать на действительность, «как она есть». Для этого, «специфицируя» свои высказывания, он дробит ее на все более мелкие кусочки и фрагменты. Раздробленная таким образом до состояния микроскопической пыли, реальность сдувается экспертом и пускается им по ветру, подобно цветочной пыльце. Потеряв способность оказывать сопротивление, действительный мир становится благодаря эксперту поистине «данным в ощущениях». Отсюда и основной постулат экспертизы: «Нужно чувствовать животом».

Эксперт как сумасшедший изобретатель

Соответствие мира в ощущениях гарантируется словами. Именно слова являются теми подмостками, на которых разворачивается *представление ощущений*. У слов, понятых подобным образом, особая миссия – они образуют остов, каркас реальности. И открывают возможность понимать ее принципиально иначе – как совокупность сочленений, междоузлий, шарниров, спаек и креплений. Отсюда конструктивистская направленность экспертного дискурса, берущего начало в софистике. Ведая практикой вынесения суждений, т. е. фактически процессом производства мнений, эксперт наследует функции *софиста*¹.

При таком подходе *сборно-разборными* конструкциями становятся и вещи, и само бытие. По своему вкусу наследники софистов могли воспринимать эти конструкции как нечто «естественное», «природное» или, напротив, как что-то совершенно «искусственное». Однако предел мечтаний конструктивистов –

¹ Одно из самых нетривиальных исследований софистического дискурса представлено в книге: Кассен Б. Эффект софистики. М. – СПб., 2000.

не противопоставление, а соединение «природы» и «духа». Само по себе это соединение не может быть сугубо механическим. Напротив, оно должно воплощать чудо ожившей механики.

Одним из наиболее современных примеров такой ожившей механики являются, конечно же, роботы. Более старыми, но оттого лишь более интригующими, – золотой помощник Гефеста, а также, разумеется, средневековый каббалистический голем и чудовище Франкенштейна из романа М. Шелли. Примерами конструктивистского отношения к реальности изобилует не только мифология, но и философия (в том числе и социальная). Чего стоит, например, концепция духовных автоматов, легшая в основу «дуалистических» построений Рене Декарта, или концепция личностных «автоматизмов» Пьера Бурдьё, на которой воздвигнута его теория габитуса.

Не вдаваясь в более «детальный» анализ конструктивистского наследия, отметим лишь, что любой эксперт – это конструктивист и, соответственно, софист *par excellence*. Даже представив ситуацию, когда его суждения функционируют исключительно в качестве описаний, и в этом случае они оказываются рецептурой.

Но, как мы отметили выше, даже когда эксперт описывает, он все равно предписывает. Иными словами, предлагаемая им рецептура – особого рода. Она всегда нечто вызывает к жизни.

Это вызывание к жизни тесно сопряжено с перенесением границы внешнего и внутреннего в область ощущений. Фактически это перенесение означает, что ощущающий устанавливает границы посредством простого полагания. Ощущать означает в таком случае ограничивать или определять. Экспертократия не просто совмещает ощущения и представления, но берет на себя функции демиурга, который порождает нечто из ничего. (Подобная постановка вопроса отсылает к мифологии Адама Кадмана, совершенного человека, созданного Богом в качестве своего зеркального двойника.)

Когда речь заходит о живых людях, дискурс экспертизы неизменно предполагает демонстрацию обращения с ними как с социальным аналогом ничто, в которое следовало бы вдохнуть жизнь. Чтобы превратить человеческое существо в такой аналог ничто, достаточно просто отнести к нему как к машине. Однако, отнесясь к живому как к неживому, дискурс экспертизы неизменно сталкивается с проблемой восстания «автоматов», которые рано или поздно выходят из строя или отказываются подчиняться. Это заставляет относиться к экспертократу уже не столько как к злонамеренному божеству, сколько как к сумасшедшему изобретателю, не ведающему, что же он все-таки натворил.

Эксперт как смыслократ¹

Мнения, возникшие в ходе реализации ставки на их систематическое перепроизводство, претендуют быть чем-то большим, нежели просто мнения. Они демонстративно весомы (и потому иногда даже тяжеловесны). А потому их отличительная особенность заключается в том, что они мгновенно осаждаются – подобно кристаллам в перенасыщенном растворе.

Кризис перепроизводства мнений, постоянно поддерживаемый экспертом, есть необходимое условие осаждения, «седиментации» собственно экспертных суждений. В этом качестве они уже не кажутся изреченными, созданными; напротив, они нечто создают или, по крайней мере, открывают возможность что-либо изречь. Иными словами, мнения в данном случае функционируют уже не как знаки, а как значения, не как суждения, а как смыслы. Власть эксперта в идеале есть смыслократия, ибо она заключается в способности превращать *мнения в смыслы*. (Последние могли при этом обретать статус «данностей», порожденных коллективным или индивидуальным сувереном, а также статус «вещей», созданных Природой, или даже «сущностей», находящихся в ведении Творца).

Наиболее четко ставка на превращение мнений в смыслы проясляется в противопоставлении медиакратической и смыслократической моделей господства. В отличие от медиакратии смыслократия мыслится при этом не как тиражирование знаков, а как обретение новых горизонтов коммуникации. Предполагается, что она манипулирует не высказываниями, а самими возможностями что бы то ни было изречь². Предполагается также, что смыслократический режим власти, основанный на господстве элиты производителей культурных смыслов и исторических сценариев, выступает не-

¹ Несколько лет назад тема власти производителей смыслов стала предметом активного обсуждения, в котором принял участие и автор этой книги. Тезис о власти производителей смыслов, управляющих разнообразными господами положения посредством формирования символической матрицы принимаемых ими решений, выдавал надежду на влияние со стороны экспертов из поколения нынешних тридцатилетних. Принадлежа к этому поколению, я никогда не разделял подобной иллюзии, ставшей элементом эпохи, которая закончилась, не начавшись.

² Эта логика последовательно представлена в некоторых работах Егора Холмогорова, автора термина «смыслократия». [См., например: Холмогоров Е. Происхождение смыслократии. 2005. <http://www.pravaya.ru/leftright/472/5481>]

обходимым дополнением бюрократического, который основан на иерархическом документообороте. Поставленная над бюрократией смыслократия призвана символизировать утопию государства как интеллектуальной системы, история которой рассматривается по аналогии с биографией какого-нибудь придворного корифея.

При этом смыслократия не сводится, разумеется, только лишь к банальной попытке управлять наличной реальностью посредством управляемого *семиозиса*: сама ставка на семиотизацию власти делает ее саму слишком «мягкой», а реальность, на которую она воздействует, слишком податливой или даже пустой. Напротив, речь идет о том, чтобы сделать предмет приложения техник конструктивизма уже не только бранный земной мир, но и область потусторонней, запредельной реальности. Именно превращаясь в смыслократию, экспертократия обретает контроль над устойчивостью небесных сфер и надмирных иерархий. Даже в подчеркнуто специализированной и нейтральной экспертизе, не претендующей на осуществление сакарального менеджмента, всегда неизменно присутствует момент судьбоности. Она неизменно предполагает вынесение решения, причем решения, имеющего отношение именно к судьбе.

Итак, экспертная власть представляет собой еще и власть над судьбой. Эта власть дает возможность придавать чему бы то ни было статус проекта. Вместе с тем, она предполагает также и возможность отбирать этот статус. А это нередко равносильно отнятию основного смысла – смысла существования. Люди или вещи, не имеющие смысла существования, обрекаются на крайнюю степень обездоленности – они оказываются лишенными судьбы.

Политика, которую вершит эксперт-смыслократ, представляет собой политику контроля за судьбоносными событиями, которая в режиме повседневной деятельности превращается в хорошо известную практику минимизации рисков и избегания неопределенности.

В этом смысле образцовыми экспертами-смыслократами являются уже не столько собственно представители школы софистов, сколько Платон и Аристотель. Именно они обосновали античную онтологизацию политики таким образом, что она стала неотделимой от священнодействия. Более того, именно в этом качестве священнодействия политика явилась судьбой не только для греков, но и для всех их наследников, продолжающих считать, что именно политическое открывает перспективу общения (как в случае с Аристотелем) и/или общности (как в случае с Платоном). Смысл был при этом воспринят как спутник коммуникативной и дистрибутивной социальности.

В рамках такого расклада эксперт-смыслократ оказывается профессионалом коммуникативно-дистрибутивных манипуляций. Следуя заветам Аристотеля, он не просто создает смыслы, но должен делать их общими, общезначимыми. Следуя наставлениям Платона, он не просто выступает от имени и во имя некой общности, но должен быть в состоянии связать саму возможность смысла именно с ее существованием.

Эксперт как слуга

Однако все оказывается не так уж просто. Смыслократическая деятельность требует выполнения некоторых условий. Собственно, их всего два.

Условие первое. Эксперт должен бескорыстно обнаруживать общее в частном. Бескорыстное усмотрение общего в частном есть не только неотъемлемый атрибут политика (который, по Платону, должен создавать целое из разрозненного – подобно тому, как паук тклет свою сеть). Это усмотрение, согласно тому же Платону, суть условие любого подлинного познания, восходящего от частного к общему.

Условие второе. Эксперт должен быть бескорыстно заинтересован в смысле, прежде всего в смысле существования общности, которая выступала бы его носителем. Заинтересованность смыслом должна быть сродни завороченности, которая выражалась бы в практике противопоставления значимого и значащего. Политика была бы сведена при этом к выявлению и «территориализации» значимого. Вопреки просто значащему. Иными словами, эксперт выступал бы контрагентом сообщества, единственным условием принадлежности к которому было бы самосознание.

Удовлетворение обоих условий превратило бы эксперта в «специфического интеллектуала», образ которого был придуман М. Фуко вопреки «всеобщему интеллектуалу» Ж.-П. Сартра. «Специфический интеллектуал» должен был специально подтверждать свою социальную ангажированность. Последняя должна подтверждаться обладанием «позицией», то есть особым стилем риторизации экспертных суждений, в рамках которых любое описание может быть с легкостью предъявлено как предписание, а дескриптивный дискурс воспринимается как производная от перформативного. Иными словами, в концепции «специфического интеллектуала» иметь «позицию» означает относиться к собственной социальной роли как к идеоло-

гическому выбору, воспринимая социальные и политические различия прежде всего как интеллектуально-мировоззренческие различия¹.

Описанный М. Фуко «специфический интеллектуал», напротив, ничего не должен был делать специально – чем бы он ни занимался, любой результат его деятельности имел политическое значение. Более того, поскольку деятельность «специфического интеллектуала» была неизменно связана с проблематикой «знания самого по себе», именно его участие в политике придавало последней всеобъемлющее значение, т. е. в собственном смысле слова наделяло ее смыслом. Это имело и свои отрицательные последствия, поскольку в описываемом Фуко мире вездесущей власти интеллектуал фактически становился главной политической, и даже «метapolитической», фигурой (что очевидным образом имеет далеко не только положительное значение)². К тому же постоянно актуализируемая полемика мировоззрений ведет к неограниченной политизации мысли, что делает ее инструментом непрекращающейся войны по приципу «интеллектуал интеллектуалу волк».

¹ Организация представлений – единственное, что может противостоять навинному идеологизаторству, берущему начало в убеждённости, будто кто-то, но только не я склонен разделять «все эти догмы». Обозначение дистанции между философским и идеологическим дискурсом начинается ровно в тот момент, когда философ хотя бы «до известной степени» признаёт себя идеологом (как в обществе анонимных алкоголиков необходимо признаться в том, что ты тоже «любишь это дело», чтобы встать на путь излечения). Что касается «делающих мысль» опекунах от философии, тут всё совсем просто: они не только выступают злонамеренными спекулянтами догм, но и отождествляют философское мышление с практикой таких спекуляций (в миру этому отождествлению соответствует принцип «Бабло победило зло!»). И нужно быть не только философом, но и идеологом, чтобы понять, что эта спекуляция скрывает в себе стремление приравнять «делание мысли» к роли её безальтернативного делегата, действующего «от имени и по поручению».

² В рамках обоснования этой мысли Фуко, в частности, предсказывал будущий альянс между интеллектуалистским и журналистским дискурсами: «Не идеи правят миром. Но именно потому, что в мире существуют идеи (и потому, что он их постоянно производит), он не подчиняется пассивно тем, кто правит им, или тем, кто хотел бы раз и навсегда объяснить ему, как следует мыслить. В этом мы видим смысл «репортажей»-анализов: то, о чём нам предстоит размышлять, будет связано с происходящим. Интеллектуалы сойдутся с журналистами на перекрёстке идей и событий» [Foucault; Les Reportages d'idees; Цит. по Эрибон; Фуко; 2008; с. 310].

Война интеллектуалов нейтрализуется политикой лишь в форме дозированной спецификации их роли, то есть частичным и никогда не безоговорочным возвращением к сартрианской модели. Всеобщая ангажированность может быть компенсирована лишь частичной ангажированностью, что в результате оборачивается переключением ученой деятельности из режима всеобщей экономии (обмен дарами) в режим частичной экономии (товарообмен). Этот процесс и является определяющим в формировании институтов интеллектуального сервиса.

Парадокс, но половинчатое и небезоговорочное возвращение ангажированности ведет к утрате интеллектуалом как «специфического», так и «всеобщего» политического статуса. Да и сама причастность эксперта к смыслу определяется сегодня мерой его вовлеченности в игру, именуемую *realpolitik*, в которой он заведомо не способен устанавливать свои правила.

Отсюда и причина постоянно происходящей подмены: эксперт не является смыслократом, а систематически исполняет его обязанности, – прежде всего симулируя осмысленность. Самосознание сводится им к пониманию принципов корпоративной солидарности с властью имущими, общность же он рассматривает как участие в некоем закрытом клубе – согласившись на скромные права «ассоциированного члена».

Какие смыслы может породить современный эксперт, занимающийся интеллектуальным сервисом, но в самых искренних выражениях заявляющий о готовности осуществить смыслократическую миссию? Речь идет об особой разновидности семантических конструкций – о **смыслах подчинения, послушания**. Можно сказать, что именно эти смыслы приобретают в настоящее время статус новой метафизики. Более того, послушание и подчинение оказываются, к нашему ужасу, последним, что все еще имеет смысл...

Глава 4

ПРОИЗВОДСТВО ИСТИНЫ

Знание – капитал!

Оговоримся сразу: мы сами не являемся поклонниками образа истины, функционирующей лишь в качестве ценности, передающей «дух времени» и противостоящей всему, что концентрируется вокруг интереса, организующего то, что составляет материю эпохи. Поклонников истины, которая служит выражением «духовного климата», пригвоздил к позорному столбу **Фридрих Ницше**, назвавший ее историю «многовековым заблуждением».

Однако, как это часто бывает, с водой выплеснули и ребенка. Отказавшись от насковзь фальшивой истины как ценности, мы в итоге рискуем пренебречь истиной как таковой. Однако парадоксальным образом оказывается, что тайна истины как таковая полностью связана с конденсацией того, что мы зовем интересом. Это, разумеется, не означает, будто мы считаем истину полностью и непосредственно вытекающей из интереса. Взаимосвязь истины и интереса сложна и подчас запутанна. Однако она существует, демонстрируя нам, насколько относительно является то, что мы – в духе ценностного подхода – привыкли воспринимать в ней как абсолютное.

Можно задаться вопросом о том, каким образом все-таки распутать хитросплетения истины и интереса. Существует ли некая инстанция, опосредующая (и одновременно объемлющая собой) их взаимоотношения? Таковой, на наш взгляд, является инстанция производства. **Истина производится**. И, соответственно, она связана со всеми аспектами социального производства. В свою очередь социальное производство – в той мере, в какой оно выступает также и производством социального, – обозначает горизонт существующих в обществе интересов.

Ближе всего к пониманию истины в контексте производства приблизился французский философ Мишель Фуко, который наиболее последовательно перешел от трансценденталистской интерпретации истинного (то есть от понимания истины как некоего надчеловеческого и надмирного дара) к заявлению о том, что истина полностью и безраздельно – «дита мира сего». «Истину производят, – писал Фуко. – Подобные производства истин нельзя отделить от власти и механизмов власти, и потому, что эти механизмы власти делают возможными и продуцируют эти производства истин, и потому, что эти производства истин сами оказывают властные воздействия, которые нас связывают и сковывают»¹.

Истина существует в этом мире благодаря множеству норм и регламентаций, воплощающих упорядочивающее воздействие власти. Фуко писал, что основная политическая задача «интеллектуала» состоит в том, чтобы знать, возможно ли установление новой политики истины. И предлагал менять не «сознание» людей, не то, что у них в голове, а строй производства истины: политический, экономический и институциональный. Подобное смещение акцентов свидетельствует о том, что Фуко выступает провозвестником экспертократической эпохи с ее ставкой на господство посредством манипуляции знанием и не-знанием. Эта манипуляция имела место и в предшествующие времена, но никогда прежде она не предполагала полной инверсии знания и не-знания, ведущей к тому, что *знание из силы, образ которой восходит к индивидуальной воле, превращается в капитал, воздействующий на нас в форме абстрактных детерминаций*.

Фактически Фуко стремился к трансформации процесса поиска истины в производительный процесс, который предполагал бы, с одной стороны, логику обобществления познавательной деятельности, а с другой – выражался бы в капитализации знания и усилий по его получению.

В этом стремлении предвосхищаются последствия информационной революции, которые связаны не с возникновением новых средств коммуникации, а с трансформацией знания из «силы» или «власти», которые ограничены в своем воспроизводстве, в капитал, наделенный безграничными возможностями к самовозрастанию.

И все же производство истины было бы простой метафорой, если бы это производство не было связано с определенной инфраструктурой, которая аналогична индустриальной инфраструктуре с той лишь разницей, что именно истина играет в ней роль прибавочной стоимости, которая возникает из разницы между востребованностью интеллектуального труда и его совокупным общественным эффектом. Как видно из сказанного, экономиче-

ская процедура «покупки» труда исследователя заменяется более сложной процедурой его символической оценки, включающей в себя оплату этого труда лишь как один из элементов признания.

Превращенный в производственный процесс поиск истины не просто отражает ситуацию купли-продажи творческого интеллектуального продукта, но трансформирует всю систему производства прибавочной стоимости, последовательно инвестируя в нее факторы не только экономической, но и символической капитализации. Эта трансформация характеризует обращение капиталов в экономиках информационного типа, где на систематической основе создаются условия того, чтобы, как гласит известная поговорка, репутация «бежала впереди нас». Власть, с которой соотносится обладание символическим капиталом, представляет собой экспертократическую власть, основанную на управлении возможностями, связанными со знанием и не-знанием.

Для формирования символического капитала, выражающегося в обладании достоинством и престижем, истина играет ту же роль, которую труд играет для формирования экономического капитала. Подобно тому, как накопленный и объективированный труд представляет собой экономический капитал, истина как квинтэссенция познавательной деятельности находит воплощение в символическом капитале.

Это не значит, что символический капитал гарантирует обладание истиной, но это значит, что он аккумулирует множество способов и усилий, связанных с ее обретением.

Аналогия истины и труда может проявляться еще и в том, что, подобно труду, истина вписана в циклы обмена человека и природы. В любую эпоху слово затрагивает, как бы «цепляет» собой вещь, предоставляя ей возможность исторического существования. В этом смысле история – действительно повествование, рассказ, только ведется он самим порядком вещей. Дискурсивное выражение вещей есть то, что соотносит их существование с режимами во-площения, то есть в конечном счете со всем тем, что входит в область человеческой практики. При этом вещи оказываются не просто предметами приложения усилий, но самими объективированными усилиями, которые распределены в соответствии с модусами воздействия и претерпевания.

Пока действует определенный способ объективации усилий, продолжается некая историческая эпоха. Она меняется вместе с изменением структуры овеществления мира, вместе с изменением всех социальных отношений и связей. Исходя из этого можно выделить несколько формаций истины.

- **Античной истине** соответствует режим соединения ментальных представлений и политического представительства, венчаемый принципом космической меры и проецируемый на социальную жизнь посредством категории справедливости. Античная истина существует как способ эпистемической объективации **общности**: начиная от общности душ, производящих диалог, и кончая общностью тел, связанных узами синой-клизма (бытия-в-совместности). Аспектами объективированной общности выступает, с одной стороны, иерархия – мир бледных копий, восходящих к своему блистательному и вечному прообразу (Платон), а с другой – коммуникация, в рамках которой общность возникает из упорядочения форм общения от семьи к полису (Аристотель).
- **Со средневековой истиной** соотносится режим соподчинения дольного мира горнему миру, который в западнохристианском варианте сопряжен с противоборством «града Божьего» с «градом Земным» (Августин), а в восточнохристианском – с непосредственной соподчиненностью высших административных чинов нижним чинам ангельской иерархии (Псевдо-Дионисий Ареопагит). Средневековая истина выступает способом эпистемической объективации **провиденциализма**: начиная от пророческого дискурса, заведомо содержащего всемирно-исторические обетования, и заканчивая личностными проговорками в ходе исповеди, имеющими значение скорее для индивидуальной судьбы.
- **Для истины Нового времени** характерен режим сочленения познавательной деятельности с рационализацией жизни и проектированием будущего. Познание оборачивается трудом, но одновременно выражает и власть. Новоевропейская истина выступает эпистемической объективацией капитала, духовным символом его самовозрастания. Одновременно истина становится символическим эквивалентом дара в системе отношений, где любые структуры взаимодействия организуются в соответствии с логикой товарообмена.

Овеществление мира тождественно праксису, оно представляет собой систему обмена слов и вещей. В результате овеществления мира вещи начинают говорить сами за себя. Однако чтобы понять, что именно говорят вещи, необходима особая политэкономия, которая выясняет, на каких условиях осуществляется этот обмен. Систематическое обеспечение его эквивалентности создает из слов и вещей понятия, объединенные в строгие последовательности. Напротив, асимметрия слов и вещей обеспечивает нас конгломератами феноменов, находящихся в сложных отношениях друг с другом. К

Глава 4 I ПРОИЗВОДСТВО ИСТИНЫ

числу этих феноменов относятся идеи, представления, эйдо-сы, иллюзии, симулякры.

Формирование символического капитала соответствует накоплению всего, что связано с процессом поиска истины, причем накопление это осуществляется с целью продолжения ее дальнейшего исследования. Инструментарий истины и вся совокупность институциональных условий, делающих возможным ее поиск, не просто выступают факторами производства истинного вопреки не-истинному, но и делают саму истину продуктивной – подобно тому, как средства производства превращают простой труд в производительный.

Глава 5

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Логике капитализации истины соответствует ее универсализация, а универсализация предполагает универсальную структуру трансляции знаний. Долгое время в качестве такой структуры выступал университет, однако теперь его влияние существенно ограничено инстанциями медиавласти. Ни для кого не секрет, что эти инстанции функционируют с чудовищной производительностью. Однако работа их основана на перекодировании любых форм знания в новостную информацию, подчиненную императиву фабрикации событий.

Ответом на систематическое преобразование знания в информацию явилось возникновение модели исследовательского университета, функционирующего как индустриальная структура по производству не только кадров, но и истин. Любая система производства и передачи универсального знания давно уже прошла этап огосударствления и организуется по корпоративному принципу. Вопрос, однако, заключается в том, в какой мере корпоративный университет может допускать «корпоративность универсального», о которой любил рассуждать Пьер Бурдьё?¹ И не является ли эта «корпоративность универсального» сегодня всего лишь не слишком острым оксюмором?

Исследовательская компонента университетской деятельности оказывается связанной с выявлением способа, посредством которого каждая конкретная истина не только произ-

¹ См., например: *Вакан Л.* Социология образования Пьера Бурдьё. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/vak_socobr.php

водится, но и вообще может производиться. При этом исследовательский университет нового типа является заведением, в котором место прежней универсалистской системы знаний, организованной под началом философии, занимает экспертное знание.

Речь, однако, идет не о той экспертизе, которая выступает разновидностью сервис-деятельности, безразличной как к форме оказания услуг, так и к их получателю. Речь идет об экспертизе, бдительной в отношении собственных истоков и оснований. Именно эта бдительность позволяет эксперту не только сохранять дистанцию по отношению к:

- а) предмету своих изысканий;
- б) их заказчику;
- в) своим результатам,

но и обращать указанную дистанцию в предпосылку повышения продуктивности собственного анализа, прогнозов и оценок.

Непреложность сохранения этой дистанции диктуется отныне вовсе не требованиями абстрактной научной беспристрастности, восходящей к позитивистской утопии нейтрального наблюдателя.

Гуманитарные науки и обществознание заняли сегодня то место, которое во времена расцвета гумбольдтовской модели университета занимала философия. Подлинная объективность исследования связана отныне не с безотчетным ощущением того, что научное познание снабжено заранее готовым объектом, но четким и осознанным представлением о том, что этот объект конструируется самим исследователем.

Утопия нейтрального наблюдения предполагала абсолютную дистанцию по отношению к любым факторам исследования (и прежде всего к его объекту). Теперь эта дистанция становится относительной, и именно в этом качестве начинает восприниматься и интерпретироваться.

Таким образом, подлинная объективность исследования связана отныне не с безотчетным ощущением того, что научное познание снабжено заранее готовым объектом – как бы подготовленным для того, чтобы его познавали, – но четким и осознанным представлением о том, что этот объект сконструирован самим исследователем. Мера понимания сконструированности объекта в точности совпадает с пониманием меры дистанции по отношению к факторам, способным показаться сугубо внешними лишь наиболее стойким и твердокаменным приверженцам позитивизма.

Кто есть кто?

На практике формирование исследовательского университета ведет к радикальной перекройке прежней карты универсального энциклопедического знания.

К настоящему моменту возникли и будут появляться дальше гибридные дисциплины, предполагающие осуществление самого плотного сотрудничества естественно-научного и технического знания с гуманитарно-научным и обществоведческим. Гуманитарные науки и обществоведение заняли сегодня то место, которое во времена расцвета гумбольдтовской модели университета занимала философия.

Если технические и естественные науки издавна были призваны давать ответ на вопрос «как?», то гуманитарные науки и обществоведение дают ответы на вопросы «почему?» и «зачем?», которые они получили в наследство от философского знания. Парадокс заключается в том, что сама философия при этом отвечает на свой обычный вопрос «что?» так, будто речь идет о вопросе «как?».

Само социально-научное и гуманитарно-научное знание также неоднородно. В нем существуют дисциплины, которые ближе к тому полюсу, который обозначает собой экономическая теория. Для этих дисциплин вопрос «зачем?» трансформируется в экономикоцентристский вопрос «В чем заключается выгода?», транслирующийся далеко за пределы самой экономики (скажем, в область политологии, мгновенно превращающейся в теорию административного управления или практику «связей с общественностью»).

В паре с экономической теорией нередко выступает юриспруденция, которая, опираясь на Гражданский кодекс, дополняет вопрос о выгоде вопросом о процедурах ее легального извлечения. (В России распространены бесчисленные вузы, в названиях которых фигурируют понятия «бизнес» и «право».)

Другой полюс обозначают прикладные направления истории и социологии, представители которых заняты коллекционированием конкретных фактов и стремятся избежать концептуального объяснения. Вопросы «почему?» и «зачем?» мыслятся ими исключительно как вопросы, призванные вскрыть наиболее элементарные каузальные зависимости.

Третий полюс представляют специалисты в области классической филологии и классической философии (то есть, по сути, истории философии), которые опасаются давать объяснения

не меньше, нежели историки и социологи, занятые «нулевыми исследованиями». Разумеется, обуславливается это совершенно другими причинами. Ориентированные на создание наиболее чистых образцов наиболее чистого знания, адепты классической учености тяготеют к объяснениям, поскольку вопросы «почему?» и «зачем?» мыслятся ими как давно до них решенные.

Наконец, можно выделить и **четвертый полюс** современного обществоведения и гуманитаристики, представленный дисциплинами, наиболее близкими к современной философии. Речь идет о специалистах в области теоретической социологии, теоретической истории, теоретической политологии, теоретической лингвистики и т. д. К ним примыкают и философы, которые не склонны рассматривать свою деятельность как комментарий на полях великих текстов и искренне полагают, что философия создается и в наши дни. Граница между современными направлениями философии и гуманитарно-научным и социально-научным знанием весьма прозрачна – что и обуславливает двойственную идентичность философов, с одной стороны, и обществоведов и гуманитариев – с другой.

Что решают кадры?

Университетская структура, ориентированная на выпуск кадров, относящихся к первой из выделенных категорий, скорее всего занята производством тех, кого французский социолог Пьер Бурдье удачно назвал *fast-thinker'amu*¹. Это средней руки аналитики и специалисты в области мониторинга, а также персонал крупных корпораций, решающий оперативные задачи низкого уровня сложности. Отличительная особенность всех этих людей – способность к почти безграничной рутинизации собственной деятельности, готовность выполнять разные виды работ (иногда и самые черновые), нацеленность на медленный карьерный рост, осуществляющийся по принципу выслуги лет.

Напротив, университетская структура, готовящая кадры, которые можно отнести к четвертой категории, нацелена прежде всего на пополнение собственных рядов и разнообразных научных институтов. В том числе часто и своих собственных. Не занимаясь решением оперативных задач, они берутся за задачи высокой степени сложности. В рамках отстаивания собственной интеллектуальной автономии им свойственно сопроти-

¹ См.: Бурдье П. О телевидении и журналистике. М., 2002.

вляться рутинизации собственных действий, определять собственные цели и приоритеты, стремиться к быстрому и подчас даже парадоксальному карьерному росту.

В сложившейся ситуации получается, что университетом в подлинном смысле слова может называться лишь то образовательное учреждение, которое способно выпускать все четыре категории специалистов, в том числе и наиболее отличающиеся друг от друга (первая и четвертая категории). Однако будет ли в этом смысле подлинный университет исследовательским? Ответ на данный вопрос связан уже не с характеристиками готовящихся кадров, а с тем, какая категория специалистов имеет наибольшие шансы сделать карьеру в самом университете.

Очевидно, что в силу конъюнктуры, существующей на рынке труда, государственные вузы могут пополняться исключительно за счет кадров, никак не обеспокоенных ни интеллектуальной автономией, ни повседневной рутинной, ни принципом выслуги лет. Зато готовых на самую скромную оплату своих скромных интеллектуальных усилий.

При этом до сих пор в России лишь государственные вузы могут получить статус исследовательского университета.

Возможное решение напрашивается само собой. По экономическим причинам исследовательскими университетами могут стать общественные университеты, объединившиеся в общие конгломераты с так называемыми предпринимательскими (entrepreneurial) институтами. Конкурентные условия существования общественно-предпринимательских вузов и сейчас во многом более жесткие, чем государственных. Подобное положение дел и заставляет их полагаться на политику постоянных инноваций. Осуществлять ее в состоянии лишь по-настоящему компетентные кадры, которые способны к принятию самостоятельных и неординарных интеллектуальных решений.

Глава 6

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА

Техника как власть

Из перспективы информационной экономики любая наша деятельность является конструированием. Все мы – гуманитарные инженеры, причем не важно чего: своей судьбы или рабочего расписания, души, досуга или труда, «естественной», «неестественной» или «противоестественной» реальности, а также жизни, искренности, упрямства, деятельности, смерти, размышления, социально-политических институтов, спокойствия, внимания, тревоги, пренебрежения, самоанализа, ярости, любви, истерики, равнодушия, паники, родственных отношений, умиротворенности, болезни, спортивных занятий, творчества, «общения с природой», милосердия, ненависти, расслабленности, высокомерия, общения с «меньшими братьями», наконец, «просто общения». Выражаясь несколько иначе, из любой перспективы наблюдения в сердцевине нашего существования оказывается виден растущий, меняющийся на наших глазах магический кристалл техники.

Речь, однако, не идет о технике, которая должна пониматься «сугубо технически» – в духе заветов XIX – первой половины XX века: техника давно уже не поддается определению как простое или не очень простое средство (например, «средство производства»). Именно поэтому понять технократическую подоплеку проекта информационной экономики невозможно, пользуясь марксистской или квазимарксистской методологией анализа промышленных революций. Вместе с тем именно такое слишком служебное отношение к технике вдохновляет тех, кто склонен к проведению в образовании «реформ ради реформ».

Приведем примечательный отрывок, демонстрирующий систему установок сторонников подобного подхода: «В мире про-

исходит экономическая революция, сравнимая по масштабам с промышленной революцией XIX века. Меняется способ производства – если в течение последних 200 лет работник “прилагался” к машинам, а средства производства поглощали основную часть капитальных затрат, то в “новой экономике” компьютер выступает как относительно универсальное средство производства (как лопата или молоток в доиндустриальной экономике), реализующее уникальные способности работника. В “новой экономике” именно на обучение и оплату высококвалифицированного работника приходится основная часть затрат. ... Это ставит Россию перед необходимостью обеспечить массовый уровень образования, соответствующий “новой экономике”¹.

Приведенный благостный зачин из статьи известного автора не должен вводить нас в заблуждение. Применение предложенной рецептуры с легкостью может стать залогом вечного движения по пути догоняющего развития – и одновременно гарантией систематического отставания. Причина? Она состоит в том, что к технике эпохи информационной экономики нельзя подходить с мерками индустриальных и доиндустриальных времен. Однако именно этот подход и по сей день кладется в основу образовательной реформы, выступает идеологической платформой для модернизации воспроизводственных механизмов российского общества.

Тайна, или, если угодно, хитрость, современной техники – в полном и безоговорочном превращении ее в арсенал символической власти. Символическая власть – самая древняя и вместе с тем самая современная разновидность властных ресурсов, способная наделять репутацией, даровать признание, вызывать веру. Это власть, обеспечивающая контроль над умами и сердцами.

В отличие от власти, основанной на диктате и насилии, она не нуждается в сколько-нибудь осязаемых подтверждениях своих возможностей. Напротив, чем менее заметна символическая власть, тем она более эффективна. Вместо «материальности» она делает ставку на «виртуальность».

Если рассматривать видоизменение властных отношений в перспективе смены социально-экономических формаций, окажется, что «виртуализованная» символическая власть оттеснила собой дисциплинарную власть физической мобилизации и принуждения, которая нашла идеальное воплощение в демонстративно «овеществленных» производственных структурах индустриального общества. Суть произошедшей мутации за-

¹ Кузьминов Я. Реформа образования: причины и цели. Отечественные записки. 2002. № 1.

ключается не только в том, что фабрично-заводскую модель производства вытеснила кибернетическая (в которой роль главного действующего лица играет уже не человек, а компьютер). Все более последовательная индустриалистская материализация власти на определенном этапе обернулась ее символической диссеминацией (рассеянием).

Это не значит, что власть стала менее концентрированной – совсем наоборот. Однако изменился способ ее концентрации, а значит, и способ ее обращения и применения. Символическая диссеминация властных ресурсов означает лишь то, что последние обрели иной «носитель». Вместо тяжеловесных структур индустриальной цивилизации с ее стройками, станками, трубами, конвейерами, тракторами, заводами-гигантами, комбайнами, горячими цехами, кранами, турбинами, обществами-фабриками, прокатными станами, людьми-винтиками, доменными печами, электростанциями, которые лучше всего мыслить по аналогии с основными материалами XIX–XX веков сталью и железобетоном, возникли гибкие до неопределенности и подвижные до неуволимости информационные структуры.

Инсталлированное бытие

Сообщения, средства связи и способы коммуникации слились до полной неразличимости. Вследствие достижения всеобъемлющего единства «содержания» и «формы» именно информация (информация) выступает примером структуры в полном смысле слова. При этом, обретя «носителя» в виде информации, власть и сама оказалась «оцифрованной», сделалась информационной властью. В результате нет более ничего, что не имело бы отношения к информационным ресурсам; соответственно нет более ничего, что оставалось бы не затронутым отношениями власти.

Информированность подстраховывает наше существование, в то же время она же и выступает причиной наибольшего риска. Распределение и потребление информации выступают сетью, в рамках которой разворачивается отныне игра в господство и подчинение, рождаются новые формы зависимости, возникают неожиданные противоречия, разгораются невиданные прежде конфликты.

«Информация, – рассуждает **Жак Деррида**, – обеспечивает надежность расчета и расчет надежности, застрахованности. Как напоминает Хайдеггер, не кто иной, как Лейбниц, прослыл изобретателем страхования жизни. В форме информации, по

словам Хайдеггера, разумное основание господствует над всяким нашим представлением... Информация – это складирование, архивация и самое экономичное, самое быстрое и самое ясное (однозначное, *eindeutig*) сообщение новостей. Она должна информировать человека о том, как обезопасить, застраховать то, что отвечает его нуждам: “*ta khreia*”, говорил в свое время Аристотель. Все компьютерные технологии, все банки данных, искусственные интеллекты и программы машинного перевода основываются на инструментальном измерении исчислимого языка. Информация информирует, не только сообщая какое-то содержание, но и придавая форму: “*in-formiert*”, “*formiert zugleich*”. Она устанавливает некую форму, позволяющую ему обеспечивать свое господство над всей землей и за ее пределами». [Деррида Ж. Университет глазами его питомцев. Отечественные записки. 2002. № 2.]

Итак, современное общество является обществом, основанном на «виртуализованной» и «виртуализующей» символической власти, в компетенции которой отныне находится возможность сделаться «всем» или «ничем».

Говоря иначе, когда информация «информирует», она осуществляет формирование, придает форму. Одновременно все существование медленно, но уверенно превращается в набор «формальностей», содержание которых все больше определяется лишь характером их взаимодействия друг с другом.

Подобные трансформации имеют самое непосредственное отношение к проблематике образования.

Информация представляет собой особое состояние знаний, максимально унифицированных с точки зрения своей организации, разложенных по однородным кластерам и максимально пригодных к употреблению. Таким образом возникает нечто наподобие *fast-food'a*, – *fast-thinking*: готовая пицца для размышлений¹ (см. об этом, в частности: *Бурдые П.* О телевидении и журналистике. 2002).

При этом передача познавательных ресурсов осуществляется в логике инсталляции. Некая совокупность знаний передает-

¹ *Fast-thinking*, помимо прочего, воплощает тенденцию к предельной *риторизации* мышления, заменяющей сегодня классическую мыслительную *категоризацию*. Фигуратив *fast-thinking'a* разворачивается в двух плоскостях, образующих сегодня ту эпистемическую конфигурацию, которая прежде называлась идеологией. Первая плоскость связана с прикладным спекулятивным имяславием – *брендингом*, вторая – с практической симуляцией исторического прогресса – *трендсеттингом*.

ся как готовая, не требующая размышлений система. Она заранее содержит в себе не только инструкцию к применению, но и закодированные в ней цели и методы. Образование, утрачивая связь с «образом», полностью заикливаясь на «форме». Полностью переставая «придавать образ», оно отныне сопряжено с деятельностью, разворачивающейся в пространстве между формированием и оформлением.

Придание формы, формирование ни в коем случае нельзя считать одномоментным актом, сиюминутным событием или революционным преобразованием. Именно поэтому сложно (и, по правде сказать, неправильно) вести речь о наступлении «информационной эры», которое мыслится как такое единовременное свершение. Напротив, об «информационной эре» можно сказать и то, что она все еще не наступила, и то, что она существовала всегда. Вопреки наивно-марксистскому взгляду на современное общество стоит принять во внимание две особенности его существования, в полной мере характерные и для России:

- **Открывается устойчивая незавершенность (или даже принципиальная незавершаемость) процессов реорганизации общественного устройства.** Нельзя сказать, что эта реорганизация закончилась или что она перестала распространяться на самые разнообразные аспекты нашего существования. Но чем дальше, тем больше ее процесс напоминает об изменении дизайна, нежели фундамента и несущих конструкций. Говоря еще определеннее, по мере того как редизайн общественного бытия превращается на наших глазах в перманентный и повсеместный процесс, изменения начинают служить отсрочке преобразований, тормозят их. Проекты социального дизайна могут быть сколь угодно радикальными – планка радикализма повышается уже не год от года, а от сезона к сезону. Однако радикализация дизайнерских подновлений только подчеркивает неизменность господствующего способа «устроения общества» (Гидденс). Сколь ни казалась бы из перспективы нашего настоящего времени старомодной и тяжеловесной марксистская критика капитализма, объект этой критики по-прежнему ничуть ей не уступает. Убыстрение меновых циркуляций не отменило денег; интенсивность капитализации не упразднила капитал; создание (на Западе) государства всеобщего благосостояния не поставило точку в системе эксплуатации; возникновение «универсальных» (глобальных) предметов потребления (Интернет, «Макдоналдс», ИКЕА и т. д.) не стало заслоном для частнособственнического присвоения; наконец, формирование массовой культуры не сделало образование ни более «качественным», ни более доступным.

- Многие радикалистские обетования и пророчества сбываются в форме пародии. Так, не исчезнув, эксплуатация человека человеком (вкупе с отчуждением так и не освобожденного труда) компенсируется широкомасштабной эрозией рубежей между трудовой деятельностью и досугом; не раскрывшиеся «всесторонне» человеческие способности (ведь по-прежнему далеко не всем удалось «разбудить» в себе Рафаэля) находят, тем не менее, новые, невиданные прежде области своего применения (каждый, кто ведет интернет-дневник, получает основание считать себя «писателем», каждый, кто покупает мебель от ИКЕА – «художником-декоратором» и т. д.); так и не свершившееся «обобществление» производства возместилось «обобществлением» потребления, что породило, в свою очередь, циклопическую индустрию шоу-бизнеса (затрагивающего не только культуру, но и политику, а также, разумеется, образование).

Описание всего этого с точки зрения марксизма не может быть ни оригинальным, ни новым. Для марксистов изменились «детали», которые не могут повлиять на изменение «общей картины».

Проблема, однако, в том, что «общая картина» меняется именно на уровне «деталей», которыми в эпоху индустриализма можно было просто пренебречь. Любое внимание к этим деталям казалось (не всегда небезосновательно) недопустимым оппортунизмом. Однако в «оппортунистические» постмодернистские времена нельзя обойтись без «оппортунистической» детализации.

Производство общения

Маркс в «Немецкой идеологии» грезил о непосредственном «производстве общения», то есть о превращении общения одновременно в причину и цель производственной деятельности (в ситуации, когда наконец исчезнут все «иллюзорные» общности во главе с государством).

Однако каким образом, исходя из этой постановки вопроса, понять нынешнее массивное превращение коммуникации в производственную деятельность (телевидение, радио, Интернет, мобильная связь), обернувшееся отнюдь не исчезновением «иллюзорных» общностей, но лишь стиранием грани между «иллюзией» и «реальностью», разобщенностью и солидарностью? Каким образом, опираясь на марксистский словарь и

принятые на вооружение марксистами формы речевой игры, описать феномен информационной экономики? Какой способ производства ему соответствует? Какие производительные силы в нем верховодят? Какого рода производственные отношения играют ключевую роль?

Очевидно, что описание компьютера, уподобленного молотку или лопате, вкупе с превознесением его владельца – работника новой формации, «пролетария умственного труда», мало чем может способствовать пониманию основных характеристик сложившегося общества.

Возникшая проблема концептуализации – в сочетании с эффектом стирания границ между единством и отчуждением, подлинным и мнимым – может с легкостью породить пессимистическое ощущение абсурдности произошедшего. Социально-теоретические версии абсурдистских констатаций содержат в себе те построения, в которых новое общество трактуется как «общество риска» (Никлас Луман, Ульрих Бек), гуманитарно-научное видение социального абсурдизма заставляет теоретиков говорить о «состоянии постмодерна» (Жан-Франсуа Лиотар), которое отмечено концом великих описаний и повествований. И в том и в другом случае ключевым моментом новой социальности оказывается неопределенность. Разница лишь в том, что в первом случае ей придается «онтологический», а во втором – «гносеологический» характер.

Оптимистические представления об адаптации марксистских подходов к рассмотрению современного общества также связаны с теориями «информационной экономики» (или «экономики, основанной на знании»). В информационной экономике информация не просто подлежит накоплению и обмену, она также существует в форме дара и приношения. Соответственно информационная экономика совмещает в себе черты товарной, капиталистической экономики и докапиталистической экономики дарообмена. Таким образом, в информационной экономике информация (как любил выражаться Карл Маркс, «в конечном счете») превращается, с одной стороны, в наиболее капиталоемкий ресурс, а с другой – в объект капитализации.

Одновременно – опять-таки «в конечном счете» – она становится наиболее значимым предметом производственной деятельности и потребления. При этом на информацию возлагается не только роль средства производства, но и миссия особого менового отношения: как о непосредственной, так и об опосредованной коммуникации все больше говорят как об информационном обмене.

Только очень наивный наблюдатель (в духе блаженной техносемантики 60-х годов XX столетия) может принять информационный обмен за прозрачную процедуру, которая основана на бескорыстных стратегиях «оповещения», и отводит структурам этого оповещения «сугубо технические» функции.

Наивность подобного подхода состоит в том, что его сторонники не принимают во внимание важнейшего обстоятельства: информация – это в первую очередь институты информационного обмена, которые не просто производят «информационные продукты», но и валидируют их экономическую и символическую ценность. Упмянутые институты выступают как кодирующие и декодирующие инстанции, которые управляют эмиссией социальных смыслов (регламентируя обладание правом на значение).

Образованию в этом процессе отводится совершенно особая роль: оно производит селекцию смысловых форм, отделяет базовые смыслы, идентичные «вечным ценностям», от второстепенных, которым остается играть роль медийного фона или даже спама. Это разделение полностью воспроизводит принятое в метафизике классическое противопоставление трансцендентального и эмпирического, за которое стоял бился Кант. На стороне эмпирического оказываются «склонности», которым нельзя потворствовать, на стороне трансцендентального – законы, в следовании которым разумный субъект открывает для себя свободу. Базовые смыслы отделены от второстепенных той же дистанцией, которая отделяет преподавателя от обучающегося. Именно эта дистанция позволяет реифицировать знание, представить его, с одной стороны, в форме объективного факта, а с другой – в форме элемента системы, символизирующей законосообразность мира.

Взаимодействие образовательных институтов и массмедиа позволяет не просто упорядочить эмиссию смыслов, но сделать это упорядочение условием любого осмысленного порядка. Одним из наиболее популярных именованных этого информационно-коммуникативного порядка является тренд «общество, основанное на знании». Именно «общество, основанное на знании» предполагает уподобление информационных циркуляций рыночному обмену, денотативных знаков – потребительным стоимостям, а коннотаций – стоимостям меновым.

Глава 7

«ОБЩЕСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИЯХ»

Самореализующаяся программа

Как утверждалось в нашумевшем в свое время докладе Всемирного банка «Будущие задачи общества, построенного на знаниях»¹, соответствующее понятие общества выходит за пределы «более узкой концепции “информационного общества”, поскольку оно признает многоуровневый характер знаний, из которых складываются наши представления о мире. Концепция “общества, основанного на знаниях” подразумевает дальнейшее наращивание потенциала для идентификации, производства, обработки, преобразования, распространения и использования информации в целях развития человека и общества».

Как видно из приведенного фрагмента, качество современного знания, как и качество его развития, мыслятся сугубо «количественно» – и притом «технически». Оно предстает суммой средств оперирования, выражающей собой некий «наращенный потенциал». При этом в величине данного потенциала – совершенно в духе классических прогрессистских концепций – усматривается некое новое качество социальности. Здесь очевидным образом проявляется себя марксова постановка вопроса о «социальной силе» как организованном выражении «производительной силы». Однако знание – это не только организованная, но и организующая система. Соответственно и само «обладание знанием» суть не просто характеристика или атрибут, которыми отмечено определенное «положение дел» в обществе или даже «состояние социальности». Речь идет о том, чтобы понять знание как условие и одновременно критерий

¹ Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы. 2003.

упорядоченности социального бытия, обретающего таким образом не только нацеленность, но и структуру.

Это значит, знание в «обществе, основанном на знаниях» представляет собой конструкцию, наводящую порядок в умах и институтах независимо от наличия сознательной воли, которая была бы направлена на установление такого порядка. Сведенное к роли информационной структуры, знание в данном случае и не нуждается ни в сознании, ни в событии. Более того, сделавшись в этом качестве предметом потребления, знание становится воплощением порядка, основанного на блокировании осмысления.

Эффект, связанный с существованием «общества, основанного на знаниях», является до какой-то степени обескураживающим: оно востребует знание, производство которого систематически опережает процесс придания ему смысла. Иначе говоря, мы сталкиваемся в данном случае со знанием, которое находится в состоянии перманентного репродуцирования.

При этом, начав производиться только ради самого себя (принцип «знание ради знания» совершенно идентичен в нашу эпоху принципу «искусство ради искусства»), оно стремится к абсолютной, как бы даже нарочитой бессмысленности.

Подобный вывод действительно не был бы возможен применительно к «информационному» или «постэкономическому» обществу, поскольку и в первом и во втором случае знание все еще создавалось «ради чего-то», то есть сохраняло определенную связь с «объектом». «Общество, основанное на знаниях» есть, помимо всего прочего, вид социальной реальности, в котором знание (подвергнутое тотальной «оцифровке» и окончательно превращенное в «информацию») может быть соотнесено только с другим знанием, имеет в виду только самое себя. По отношению к этому знанию архаичен и сам прогрессизм, воплощенный в допотопных стратегиях, снабженный устаревшими ориентирами и вооруженный потерянными актуальностью целями.

С этой точки зрения для обоснования концепции «общества, основанного на знаниях» архаично все, кроме риторики, которая представляет собой не что иное, как технико-экономическую оснастку мысли. Не будучи в состоянии придать смысл «обществу, основанному на знаниях», его теоретики довольствуются прежними прогрессистскими смыслами, связывая существование этого общества с «общественным развитием», «индивидуальной самореализацией» и «частной собственностью». (Пример подобных рассуждений содержится в том же докладе Всемирного банка, авторы которого, в частности, пи-

шут: «Информация, средства связи и знания лежат в основе прогресса, деятельности и благосостояния человека».)

Обретенные в прошлом, «запоздалые» смыслы играют в данном случае роль «объектов», или «референтов», новой общественной реальности, само существование которой возможно лишь как дань некоему ретро. При этом образцовыми ретро-объектами выступают разнообразие либеральные ценности, начинающие собой концепцию «общества, основанного на знаниях». Именно так одним махом ей, с одной стороны, придается «реалистический облик», а с другой – исключается всякая ее связь с реальностью. В упоминавшемся документе Всемирного банка ведется речь о четырех принципах «инклюзивного “общества, основанного на знаниях”», которые, как явствует из их содержания, берут начало в либерализме.

- **Первый принцип** – свобода слова, которая утверждается и применительно к новым областям общественной коммуникации (Интернет и т. д.).
- **Второй принцип** – возможность получения (но не обязательность!) качественного образования.
- **Третий принцип** – всеобщая доступность информации, образовательных ресурсов.
- И, наконец, **четвертый принцип** – сохранение культурно-языкового разнообразия, недопустимость унификации и дискриминации в вопросах языка и культуры.

Итак, любые отличия «общества, основанного на знаниях» от других обществ сами производятся как информационные продукты. Эти отличия не проводятся или утверждаются, а скорее «позиционируются». В аналогичном положении произведенных информационных продуктов находится и вся система социальных различий, как бы призванных продемонстрировать свою «виртуальность». Социальные различия, не принимаемые во внимание в рамках информационного поля, признаются малосущественными, незначительными и незначимыми. Фактически им попросту отказывается в праве на существование – существует только то, что

- а) может быть подвергнуто визуализации;
- б) в состоянии пройти тест на «виртуализабельность».

Акцентируемые отличия «общества, основанного на знаниях» от «информационного общества» связаны с:

- **более высокой скоростью информационного обмена**, приобретающего нацеленность на постоянное ускорение, препятствующее любым формам седиментации (осаждения) информационных ресурсов (постоянно находящихся в состоянии «взвеси»);

- **полным сращением информационного обмена с рыночным обменом** – под знаком виртуализации финансово-экономических трансакций;
- **полным отождествлением средств коммуникации с передаваемой информацией**, причем «сообщение» не просто приравнивается к «медиуму» (в рамках известной формулы Маршалла Маклюэна), но систематически возникает как эффект деятельности медиасферы;
- **рутинизацией событий**, приобретающих статус регулярно производимых «сенсаций», и смысла, сводимого к регулярно нагнетаемому информационному «шуму»;
- **технологизацией процесса познания**, сведенного к «поточному производству», построенному не просто на обработке информации, но на оперировании форматами восприятия;
- **изменением отношения к знанию**, которое из накапливаемой и сберегаемой ценности превращается в спекулятивную, «хрематическую» ценность, обладание которой связано с эксплуатацией незнания, а следовательно, и разнообразных форм социальной, культурной и интеллектуальной обездоленности;
- **всеобъемлющей манипуляцией не только информационным «предложением», но и информационным «спросом»**, что, в свою очередь, лишает познавательную деятельность прерогатив творческой, бескорыстной деятельности, порождая особый тип знания, неотделимый от политэкономии прагматических выгод;
- **постоянным уплотнением информации**, которое, будучи обратно пропорционально ее структурированию, порождает кризис «смыслодефицита», диктат средств, поглощающих и подменяющих собой цели.

Старый спор на новый лад

Не менее значимо сопоставление концепции «общества, основанного на знаниях» с концепцией «постэкономической эры».

«Постэкономическое общество» представляет собой «облегченную» версию того общества, которое классики социальной мысли XIX–XX веков называли социалистическим. Вместе с концепцией «информационного общества» оно входит в категориальный арсенал теории постиндустриализма, представленной работами **Артура Пенти, Дэвида Рисмена, Джона Гэлбрейта, Раймона Арона, Алена Турена, Дэниела Белла, Эл-**

вина Тоффлера и других. Теоретики индустриализма придерживаются формационного подхода к рассмотрению общественной реальности; постиндустриальное общество является для них новой фазой в развитии общества, приходящей на смену аграрному (доиндустриальному) и индустриальному.

Каковы бы ни были различия в подходах к описанию постиндустриальных реалий, общий вывод исследователей состоит в том, что:

- **во-первых**, происходит увеличение удельного веса сферы услуг по отношению к сфере «материального» производства;
- **во-вторых**, создание средств производства теряет свое значение по сравнению с созданием предметов потребления;
- **в-третьих**, видоизменяется характер человеческой практики, которая все больше оказывается связанной с регулярной обработкой информации (соответственно трансформируются и критерии оценки практических результатов);
- **в-четвертых**, возникает представление о человеческих возможностях как о «ресурсе» или «капитале» (тем самым подводится новая концептуальная база под отношения эксплуатации);
- **наконец, в-пятых**, выделяются новые высокотехнологичные и наукоемкие области трудовой деятельности, вызывая изменения как в конкретно-историческом раскладе социальных сил, так и в понимании профессиональной компетенции в целом (последствия подобных изменений теоретики постиндустриализма явно переоценивают).

Говоря о «постэкономическом обществе» как особой разновидности постиндустриального общества, стоит отметить: его концепция питается теми же интуициями, что и теоретические построения Карла Маркса: «постэкономическим» может считаться общество, в котором преодолевается как онтологическая отягощенность материей (которая в марксовой версии должна превратиться в предмет планомерного преобразования), так и гнет социальных тягот, связанных с противоположностью умственного и физического труда.

Однако концепция «постэкономического общества» в той же мере наследует подход Маркса и марксистов, в какой и подвергает его ревизии. То, что у автора «Капитала» совершается в форме социальной (или, в соответствии с прежней терминологией, «социалистической») революции и носит характер радикального преобразования, в рамках теории «постэкономического общества» осуществляется медленно и плавно. При этом «социалистическая» революция заменяется научно-технической революцией (НТР). В итоге противоположность между физическим и умственным трудом не столько «упразд-

няется», сколько сглаживается (или даже попросту нивелируется), а управление подчиненной и укрощенной материей оборачивается диктатом новой материальности – средств коммуникации.

Особое значение в концепции «постэкономического общества» приобретает тема трансформации рыночных отношений, равно как и тема ухода от прямолинейного, в разных смыслах слова, вульгарно-материалистического экономического детерминизма. Однако подобные упования, наиболее ярко представленные в работах **Дэниела Белла** и **Германа Кана**, характерны лишь для эпохи 1960-х – первой половины 1970-х годов, когда технократическое проектирование все еще монтировалось с идеей социалистического общества как общества совершенной коммуникации. Это соответствует последнему всплеску внимания к идеям леволиберальной технократии. Очень скоро среди самих левых возобладает идеология эмансипации «естества», они окончательно откажутся от технократических упований, проникутся неопочвенническим культом Природы и переключатся на разнообразные формы «экологической» борьбы.

В рамках известной инверсии «левой» и «правой» идеологий, произошедшей к середине 1970-х годов, комплекс технократических идей берется на вооружение правыми либералами, которые известны своей апологетикой рынка и рыночных отношений. К концу 1970-х – началу 1980-х годов возникает альянс правых либералов с неоконсерваторами, которые, в свою очередь, предлагают новое прочтение почвеннической идеологии. Она сопряжена отнюдь не с квазирусоистской апелляцией к природным «духам» и «началам», а к воссозданию и укреплению традиционных форм социальности, основанных на семейных ценностях и патриархальном понимании иерархических отношений.

Реконструкция общественной реальности, основанной на традициях, никак не могла обернуться утопическим «возвращением в прошлое». С самого начала она представляла собой не что иное, как проект, причем проект, предполагающий довольно радикальное общественное переустройство. Впрочем, нас в данном случае интересует только одно: его сходство с проектом общества совершенной коммуникации. Однако в сравнении с авангардно-футуристическим проектом социалистов ретросоциальность неоконсерваторов нуждалась в рынке.

Более того, сама возможность альянса приверженцев неоконсервативной идеологии с правыми либералами возникла из общего восприятия рыночных отношений как стихии с невиданными креативными возможностями: она сама способна все организовать и устроить.

Представление об организационно-устроительной миссии рынка легитимировало существующую социальную иерархию. Теперь ее наличие вновь оказывалось освященным традицией, а не только экономической целесообразностью. Одновременно сама экономическая целесообразность превращалась в наиболее «укорененный» в обществе способ организации жизнедеятельности.

Подобное превращение, однако, требовало возникновения некоего опосредующего звена, которое объединяло бы традиционные «ценности» и экономические «интересы». Этим звеном и стало «знание» в том понимании, которое позволило бы сделать общество инстанцией, осеняющей собой мирное сосуществование морали и рынка.

Квинтэссенцией практики подобного мирного сосуществования является, с точки зрения теоретиков «общества, основанного на знаниях», практика демократической солидарности граждан, находящая выражение в капитализации разнообразных прибылей от «сетевых» взаимодействий друг с другом.

Как утверждает в получившем широкую известность докладе Всемирного банка «Формирование общества, основанного на знаниях»: «Посредством передачи демократических ценностей и культурных норм высшая школа способствует воспитанию гражданской позиции, вносит вклад в государственное строительство, содействует социальной сплоченности. Это, в свою очередь, служит опорой для формирования и укрепления социального капитала, под которым обычно понимаются выгоды, которые получают люди, являясь членами общественной сети, способность обеспечить доступность ресурсов, гарантировать отчетность, а также служить защитой во время кризисов. Взаимоотношения и нормы, привносимые высшей школой, служат действенными механизмами, которые влияют на качество общественных взаимодействий, поддерживающих экономическое, политическое и социальное развитие. Университеты и иные вузы, являясь перекрестком социального сотрудничества, могут способствовать укреплению сообществ, стимулировать общественную деятельность, способствовать развитию факультативных форм обучения и внедрению инноваций»¹.

Итак, проект «общества, основанного на знаниях» является неolibеральным проектом, который – под эгидой традиционализма – предполагает новое издание идей рыночного, «экономического» общества. Не вполне очевидное на первый взгляд различие в подходах теоретиков «постэкономического общества» и

¹ Формирование общества, основанного на знаниях. Новые задачи высшей школы. 2003. С. 31.

«общества, основанного на знаниях» воспроизводит различие социалистической и либеральной доктрин. Фактически упомянутые концепции общественного переустройства воспроизводят в новых условиях старый спор социалистов и либералов.

Основные отличия «общества, основанного на знаниях» от «постэкономического общества» состоят в:

- противопоставлении «экономики знания» любым формам познавательной деятельности, ориентированным на творчество и не связанным с определяющей ролью экономических мотиваций;
- противопоставлении «экономики инноваций» инновационной деятельности и различным видам изобретательства, не ориентированным на получение экономических прибылей;
- расширении сфер рыночной активности вопреки их ограничению «собственно экономической» сферой;
- рассмотрении новых коммуникативных сред и ресурсов как условий и предпосылок предпринимательства, а не бескорыстного взаимодействия, основанного на интересе к самому процессу коммуникации (пример: e-коммерция);
- превращение университетов и других вузов в агентства по оказанию образовательных услуг на коммерческой основе;
- коммерциализация процесса обучения в целом, предполагающая в качестве конечной цели образовательной деятельности извлечение прибыли, а не воспитание новых кадров и создание новых форм обучения (пример: предпринимательские (entrepreneurial) университеты);
- трансформация учебных, учебно-научных и научно-исследовательских учреждений в институты «интеллектуального сервиса», функция которых сводится к оказанию экспертно-аналитических и прогностических услуг, а не к осуществлению научного поиска (пример: консалтинговые агентства).

Исходя из проанализированных противопоставлений наиболее явные черты «общества, основанного на знаниях» проявляются в рамках модификации рыночных отношений, которые, приобретая сетевую форму, становятся более комплексными и разветвленными. Экономические детерминации и ранее никогда не проявляли себя в форме «слишком прямолинейного», насильственного воздействия. Они давали о себе знать в массе сложных превращенных форм, соотносящихся друг с другом наподобие ажурной многоступенчатой конструкции. Теперь же эта ажурная конструкция и вовсе приобрела характер сети – без края и конца. С подобной трансформацией и связано возникновение информационной экономики (или экономики знаний), о которой начали говорить еще в 1960-е годы, но ко-

торая стала реальностью только сейчас, в эпоху «общества, основанного на знаниях».

Наиболее важной трансформацией, связанной с формированием этой модели общества, является видоизменение характера экономической власти – как доминирующего вида власти в обществах капиталистического типа.

Если в эпоху индустриальной экономики экономическая власть предполагала систематическую ставку на уподобление политической власти и соединение с ней вплоть до полной неразличимости, то теперь – под эгидой идеологии неолиберализма – экономическая власть всячески дистанцируется от последней, усматривая источник своего могущества в неустанном поддержании автономии.

Экономическая власть времен индустриализма представляла собой достаточно громоздкое сооружение, не просто созданное по образу и подобию политической власти, но и нуждающееся в ее постоянной поддержке. Отсюда и структура экономической власти, воспроизводящая структуру власти государственных учреждений до такой степени, что можно говорить об особом симбиозе административных и рыночных методов воздействия как о концентрированном выражении особой индустриальной власти (которая не была до конца ни политической, ни экономической). Не только образ, но и структура индустриальной власти чрезвычайно близки к циклопическому многоуровневому городу-фабрике, созданному воображением Фрица Ланга в фильме «Метрополис».

С точки зрения прежних индустриалистских представлений о технике, она безусловно воспринималась как нечто искусственно созданное, противоположное природному «началу», естествену. Казалось, мы живем в мире все более многочисленных и детализированных приспособлений. Неуклонное увеличение их количества было призвано символизировать железную поступь технического прогресса. При этом технические изобретения множились и роились, но оставались всего лишь средствами. Местом их обитания был – при всей условности его границ – «внешний мир», среда человеческого обитания. За право овладения ею «техника» вступала в схватку с «природой».

Постиндустриалистские представления о технике предполагают совершенно иную перспективу рассмотрения, иной взгляд. Технические изделия теперь захватывают и колонизируют не «внешний», а «внутренний» мир человека, не среду его обитания, а экосистему его ментальности. В каком-то смысле «все остается по-прежнему»: не уменьшается ни количество приспособлений, ни степень их детализации. Железная поступь

прогресса также нисколько не ослабевает – меняется лишь сфера его воздействия. При этом появляется одна существенная новация: роящиеся и множасьщиеся технические изобретения больше не довольствуются функционалом «простых орудий». Теперь они незаметно обратились в цели нашего существования.

Чем дальше, тем заметнее наш мир становится миром технологического комфорта¹, в котором возникает много удобных, а значит, все менее заметных орудий. Кажется, что технические приспособления так и льнут к человеку, все настойчивее приспособляясь к нему. Но не стоит тешить себя неуместными иллюзиями: подобная адаптация техники под человеческое существо возможна только в одном случае – когда технические средства заранее приспособили к себе человека.

Это то, что незаметно становится для нас целью, точнее, сводит все свои «служебные функции» к тому, чтобы перевести постановку целей в автоматический режим, поставить на поток производственные операции по созданию и продвижению целесообразности. Иными словами, мы живем в мире, который невозможно описать с привлечением индустриалистского пафоса создания все более многочисленных и детализированных приспособлений. Однако от этого они нисколько не утрачивают, а напротив, приобретают черты имплантатов, протезов.

Соответственно деиндустриализованная власть – это власть, переставшая воплощаться в железобетонных фабрично-заводских конструкциях – бесспорно, внушающих уважение и страх, но слишком уж осязаемых и зримых. Говоря иначе, деиндустриализация власти обозначила конец монументальной власти, воздействие которой скорее напоминает о физической причинности, нежели о метафизической энергии или силе. Это воздействие основано на принуждении, а не побуждении, на внешних условиях, а не внутренних побуждениях.

Современная власть не только деиндустриализована, но и деполитизирована. Она является экономической не только и не столько потому, что связана с финансовыми и хозяйственными ресурсами, а потому, что представляет собой сложную систему спекуляций, спекулятивное отношение в чистом виде.

«Культурные сражения, – пишет Мануэль Кастельс, – суть битвы за власть в информационную эпоху. Они ведутся главным образом в средствах массовой информации и с их помощью, но СМИ не являются держателями власти. Власть – как

¹ Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. <http://www.buk.irk.ru/library/book/texts/mankast/theend/news.htm>

возможность предписывать поведение – содержится в сетях информационного обмена и манипуляции символами, которые соотносят социальных акторов, институты и культурные движения посредством пиктограмм, представителей, интеллектуальных усилителей. ... Более не существует стабильных властных элит. Однако есть элиты от власти, то есть элиты, сформированные во время своего обычно короткого срока пребывания у власти, за время которого они используют преимущества своей привилегированной политической позиции для достижения более постоянного доступа к материальным ресурсам и социальным связям. Культура как источник власти и власть как источник капитала лежат в основе новой социальной иерархии информационной эпохи»¹.

Возможности и угрозы новой экономической власти, сросшейся до полной неразличимости с символической властью, сопряжены в первую очередь с ее неосязаемостью. Современная экономическая власть незаметна и опасна, как радиация. Она программирует наши действия, не прибегая к особым запретам, и управляет нами, не отсылая к авторитету фюрера или вождя. Все, что мы совершаем, подчиняясь современной экономической власти, принимается нами за собственное решение, за результат осуществления самостоятельной воли, за выражение своего выбора, как никогда правильного и независимого. В этом-то и состоит главная уловка «общества, основанного на знаниях», подчиняющего нас себе посредством дарованной нам свободы.

¹ См. на эту тему интересное рассуждение: *Крылов К.* Комфорт как идея Европы. 2008. <http://www.apn.ru/special/article19547.htm>

Глава 8

КАПИТАЛИЗАЦИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ

Знание и свобода

Итак, выступая системой массированного производства общения, информационная экономика облакает подчинение в форму свободы. Это и есть главная отличительная черта современных обществ, основанных на знании. Производство общения эквивалентно капитализации человеческих возможностей. При этом возникает ситуация, когда любое проявление человеческого в человеке начинает восприниматься как капитал¹. С этим связана столь значимая для современных обществ проблематика идентичности, которая воспринимается в логике капиталистической игры, то есть под знаком обретения и утраты, приращения и инвестиций.

Все это самым существенным образом трансформирует характер образовательной деятельности – инновационное образование оказывается основной структурой капитализации человеческого в человеке. Проанализируем основные атрибуты информационной экономики (и основанной на ней системы инновационного образования), оценив, каким образом они находят свое воплощение у нас в России.

¹ Первоначально понятие «человеческий капитал» было введено в научный обиход апостолом современного экономикоцентристского мышления Г. Беккером в одноименной книге 1964 года [Becker, Gary S. Human Capital. N. Y.: Columbia University Press, 1964]. Беккер понимал под человеческим капиталом совокупность знаний, навыков и умений работника, расходы на которые могут принести прибыль как ему самому, так и его работодателю. Основной целью Беккера являлся расчет экономической эффективности образовательной деятельности. За разработку теории человеческого капитала были присуждены целых две Нобелевские премии – Т. Шульцу в 1979 и Г. Беккеру в 1992 году.

(1) В качестве особой вехи в становлении экономики информационного типа авторы доклада Всемирного банка об «обществе, основанном на знаниях» выдвигают подчинение информации функциональным нуждам предприятий, существующих в ситуации рынка. «...Начали преуспевать предприятия нового типа – компании по обслуживанию предприятий, которые занимаются предоставлением специализированных знаний, информации и данных в поддержку деятельности существующих производственных предприятий. Эксперты считают, что такие обслуживающие компании являются основным источником созданных сравнительных преимуществ и значительной величины прибавочной стоимости в высокоиндустриальных экономиках. ... В экономике, основанной на знаниях, достижения в сфере микроэлектроники, мультимедийного производства, а также телекоммуникаций приводят во многих отраслях к существенному росту производительности»¹.

Эта тенденция наметилась и в России, однако распространяется она лишь на относительно узкий сегмент производств, не приводя к изменениям в базовой производственной организации, по-прежнему связанной с ресурсными поставками. В такой ситуации усовершенствование мультимедийной оснастки играет роль декоративного эффекта, маскирующего принципиально экстенсивный характер сырьевой экономики. Принципиально то, что, несмотря на некоторые заслуживающие внимания примеры самостоятельной разработки программного обеспечения и цифрового оборудования, российская экономика не только не оказывает влияния на ход технологической эволюции, но, за редкими исключениями, продолжает довольствоваться заемными технологическими продуктами.

(2) Самой важной отличительной чертой информационной экономики выступает видоизменившийся объект капиталовложений. Речь идет уже не об оборудовании и материалах, а о персонале, качество которого признается важнейшим фактором успешной конкуренции.

«Экономический рост, – отмечают эксперты Всемирного банка, – является сегодня в такой же степени процессом накопления знаний, как и процессом накопления капитала. В странах Организации экономического сотрудничества и развития объемы капиталовложений в нематериальные активы, формирующие базу знаний, а именно в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), образование и программное обеспечение для вычислительной техники, равны или даже превышают капиталовложения в физическое оборудование»².

Подобная постановка вопроса была, безусловно, усвоена идеологами национальных проектов, в особенности национального проекта по развитию образования. Однако накопление информации не ведет автоматически к ее капитализации,

по логике которой информация обеспечивает систематические инновации. Именно это со всей очевидностью проявляется сегодня в России, где, несмотря на относительно высокий уровень накопленных в разных отраслях знаний, знание продолжает оставаться ресурсом, а не капиталом.

Ресурсная модель экономики проявляется, таким образом, не только в гипертрофии сырьевой добычи и сырьевых поставок, но и в специфическом отношении к любым формам капитала (в том числе и к информационному капиталу) как к сырью.

Результат подобного отношения не заставляет себя ждать: отсутствие налаженной системы конвертации знаний в различные формы инновационной деятельности сказывается на отношении к знанию как к ненужному бременю, а к его носителю – как к «лишнему человеку» нового типа. Это сказывается и на самом знании, которое приобретает характер схоластической догмы, превращается в «дидактический материал», бесконечно циркулирующий в замкнутой системе «обучающий – обучающийся».

(3) Наиболее значимым критерием, в соответствии с которым производится отбор и рекрутирование кадров, становится, в свою очередь, уровень их подготовки. Эта подготовка включает в себя не только наличие знаний в собственном смысле слова, но максимально широкий набор умений, требующийся для организации профессиональной жизнедеятельности. Особый акцент делается на коммуникативных навыках (общение начинается производиться не только на уровне СМИ, но и на уровне любого предприятия), а также на полифункциональности компетенций (то есть на возможности выполнения смежных функций). Одновременно не просто приветствуется, но, по сути, превращается в необходимое условие конкурентоспособности на рынке труда образование:

- а) «без границ» (территориальных и социальных);
- б) без «отрыва от производства»;
- в) на протяжении всей жизни (life-long education);
- г) получаемое посредством средств телекоммуникации (e-learning).

В России уровень подготовки не играет ключевой роли в кадровой политике, что может как подталкивать, так и тормозить стремление к получению дополнительного образования. Основная проблема заключается у нас в том, что слишком значительная доля выпускников не работает по своей специальности. При этом отсутствует преемственность в образовании, поскольку последующие циклы образовательной переподготовки

часто предполагают не приращение новых знаний, а стирание предыдущих (вместе с системой ценностных приоритетов, которые они в себе содержали). Велико значение корпоративного обучения, когда корпорация делает ставку на молодых и недостаточно опытных выпускников, которых доучивают и переучивают в процессе работы (особенно распространены внутрикорпоративные тренинги и семинары). Все это привело к фактическому исчезновению в последние 8–10 лет интеллигенции, которая традиционно брала на себя роль носительницы общих знаний и гаранта универсальных ценностей. Вместо этого предпочтение отдается специализированной экспертной компетенции, своего рода «корпоративному знанию». Модели «корпоративного знания» в точности соответствует корпоративная этика, поставленная выше этики общечеловеческих принципов, ценностей и норм.

Образование как социальная технология

Социальный порядок не просто нуждается в укреплении и поддержке, он воспроизводится благодаря и в форме признания. Это значит, он нуждается в упорядочивании процедур легитимации. В свою очередь подобное упорядочивание составляет результат и одновременно предпосылку деятельности образовательной системы.

Легитимация не может состояться без двух условий:

во-первых, без идеализации порядка;

во-вторых, без опоры на безотчетное, нерефлексивное доверие.

В 1990-е годы образование играло роль едва ли не единственного устойчиво функционирующего социального лифта, работа которого решала проблему невозможности адаптации к условиям первоначального накопления. В этом качестве образование не только не служило целям легитимации рыночного порядка, но и отчасти обозначало собой альтернативу рыночной жизнедеятельности.

Образовательная система в 1990-е годы (особенно в первой половине десятилетия) представляла собой, таким образом, систему совсем не иллюзорного социального эскапизма. Парадокс заключается в том, что массовый спрос на подобный эскапизм превратил образование в важный фактор рыночной экономики. Именно непомерно возросший в 1990-е годы спрос на образовательные услуги оказался решающим фактором пре-

вращения образования в рыночный институт. Спрос на образование является спросом на максимально безболезненную и незатратную социальную адаптацию. Именно этот спрос породил предложение, связанное с доминированием сегмента бизнес-образования на скорую руку.

Образование стало развиваться под лозунгом: «Хочешь научиться, спроси меня как». При этом было осуществлено четкое разделение бизнеса и не-бизнеса, а внутри предпринимательской деятельности оказались намечены наиболее простые ориентиры бизнеса «как он есть на самом деле». Так возникли условия возвращения образованию статуса машины легитимации порядка. То, что порядок при этом стал рыночным, отразилось не только в появлении значительного числа негосударственных вузов и в абсолютном преобладании в их числе вузов коммерческого профиля. Более общая тенденция проявилась в многократном увеличении числа учебных заведений, открывающих возможность получения высшего образования, и девальвации статуса университета из-за возможности присвоения его любому отраслевому вузу, даже если ассортимент предлагаемых в нем учебных дисциплин соответствует уровню советского техникума.

Идея университета сопряжена с перспективой приобретения универсального знания. Однако на практике дает о себе знать обратная логика: универсальным считается то знание, которое получается в университете.

Соответственно рынок не просто подталкивает к содержательной и процедурной коммерциализации образования, он предполагает универсализацию знания, получаемого в рамках модели так называемого предпринимательского университета.

Предпринимательский университет – не просто учреждение, предоставляющее платные образовательные услуги. Это вуз, в котором специализированное отраслевое знание превалирует над общим знанием. Система учебных курсов формируется в нем в соответствии с рыночным спросом на определенный тип квалификации, а не абстрактной логоцентристской дидактикой. С моделью предпринимательского университета тесно связана идеология корпоративного учебного заведения, готовящего кадры в соответствии с внутрицеховыми запросами и выступающего элементом большой корпоративной структуры.

По точному выражению **Пьера Бурдьё**, университет выступает образцовым местом для принятия экзаменов, но именно в силу этого практически не ставится под вопрос. Причиной служит то, что вместе с передачей знаний университетская инсти-

туция осуществляет трансляцию ценностей, воспринимающихся его питомцами «как должное». Доминирование определенных моделей университетского знания ведет, таким образом, к преобладанию соответствующей системы ценностей, точнее, к формированию наиболее общих принципов, позволяющих в чем-то усматривать ценность, а что-то, наоборот, лишать соответствующих прерогатив.

На протяжении 2000-х годов в России модели корпоративного и предпринимательского университетов постепенно вытесняли традиционный «универсальный» университет, основанный на идеях Канта и Гумбольдта. С точки зрения эволюции ценностных приоритетов этот процесс не просто обозначил собой распространение рыночных ценностей, но явился симптомом возникновения новой формы ценностного сознания, в рамках которого ценным оказывается то, что включено в систему меновых отношений и в буквальном смысле может «чего-то стоить».

Независимо от своего содержания любые ценности являются ресурсами поддержания порядка, нормы же берут на себя роль принципов его организации. Ценности обмена не просто помещены в общий контекст со стоимостями, их возвышение воплощает собой результат долгого процесса конкурентного противоборства знаний и умений. В каком-то смысле можно утверждать, что умения оказались более важными, чем знания. Это открывает возможность принципиально нового отношения к ценностям и нормам как таковым: теперь они выступают в качестве атрибутов технического могущества, позволяющих ставить под свой контроль и модифицировать любой порядок.

Глава 9

ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УЛЬТРАКАПИТАЛИЗМА

Костлявая рука рынка

Экономика обычно меньше всего рассматривается как явление культуры (скорее уж наоборот). Еще меньше она рассматривается как ее субститут, без чего, как ясно сегодня, невозможно понять феномен *ультракапитализма*.

Псевдотрадиционализм российской олигархии малых, больших и очень больших бар опасен именно потому, что блокирует дифференциацию стоимостей и ценностей¹. Неофеодальное производство является гиперполитическим, претендуя скопом производить и стоимости, и ценности, не делая между ними особенного различия.

В этом смысле неофеодализм в России выступает заменителем не только культуры, но и экономики, причем ценности и

¹ Последовательное разведение стоимостей и ценностей создает эффект их последующего *тождества*, который, собственно, и описывается понятием *капитала*. Демаркация ценностей и стоимостей в отечественной социальной теории связано с возобладавшей во времена нэпа стратегией перевода «Капитала» К. Маркса. Восприятие этой работы как энциклопедии ценностного анализа сближало основоположника научного коммунизма с кантианцами – именно этот герменевтический ход был характерен для «умеренных» социал-демократов во главе с К. Каутским. В противовес герменевтике ценностей более радикальные большевики предложили для прочтения основного труда основоположника герменевтику стоимостей, базирующуюся на противопоставлении объективных сторон действительности ее субъективным аспектам. В результате капитал оказался экономической категорией, описывающей институциональный и инфраструктурный аспекты жизнедеятельности, но не политэкономии *сублимаций*, устанавливающую баланс представимого и непредставимого, а также раскрывающую в форме этого баланса способы быть субъектом.

стоимости в этом случае меняются местами. При этом неофеодализм с легкостью переходит в *ультракапитализм*: стоимость здесь выступает сокровенным достоянием культуры, экономика же работает как система фабрикации ценностей.

Решение выделить банковскому корпусу 50 миллиардов долларов – для улаживания проблем в связи с мировым финансовым кризисом – только подтверждает произошедшую инверсию. Банки функционируют не как экономические, но как ценностные институты, знаменующие чуть ли не нравственный выбор. Тем самым не просто доказывается, что «мы за капитализм» – банковский капитал рассматривается именно как *завоевание* культуры (подобно тому, как в советские времена воспринималась всеобщая грамотность, а потом и всеобщее среднее образование).

Если в политике и идеологии во времена путинского правления всеми силами демонстрировалось отсутствие какой-либо преемственности с «лихими девяностыми», то в экономике режиму Путина без особого сопротивления удалось сделать то, что оказалось не под силу ельцинским младореформаторам.

Именно при Путине «дикий» криминальный капитализм эпохи Ельцина незаметно превратился в гипер- или ультракапитализм¹, когда рыночные отношения приобрели статус цивилизационного завоевания и превратились в эталонную форму

¹ В ситуации местного и общемирового гиперкапитализма интеллектуалы – речь гуманитарная интеллигенция, которая любит так себя называть, – оказались в загоне. И не потому что их не любят, не понимают и «недофинансируют». Просто сама модель существования местного интеллигента сопряжена со снятием покровов, разоблачением. Именно разоблачительным был, например, пафос отечественных диссидентов. На этом замешан весь высокотехнологичный критический дискурс. Разоблачение чего-то или кого-то и есть единственная форма самообмана, на которую способен любой честный интеллигент. Собственно, в этом состоит основа и суть его честности.

Однако гиперкапиталистические отношения предполагают такое разнообразие форм обмана и самообмана, что от любых разоблачений веет невнятным занудством. Активные участники гиперкапиталистической игры действуют по принципу: «Обмани другого, пока он не обманул тебя!» Но обман может состояться лишь как продолжение более-менее изощренного самообмана. Поэтому существует огромный спрос именно на инновационные формы лицемерия самим себе, к поиску которых и сводится, собственно, вся инновационность в сфере социальных технологий. Мыслителем, который одним из первых отреагировал на наличие упомянутого спроса, является, безусловно, Славой Жижек, превративший постпсихоанализ Жака Лакана в консюмеристскую теорию либидинозного менеджмента и бессознательных инвестиций.

Средний потребитель склоняется к тому, чтобы использовать в освоении этих технологий ресурсы собственного бессознательного (которое, как известно,

культурной жизнедеятельности. С начала гайдаровских реформ едва ли не единственным показателем и условием развитости рыночных отношений выступало последовательное разрушение советского социального государства. Во времена Путина от «социалистических» социально-государственных институтов остались в лучшем случае бренды.

Образовательные и медицинские учреждения полностью трансформировали свой статус в соответствии с простым и в общем-то совершенно обывательским восприятием рыночного хозяйства: «Рынок – это когда ничего не бывает бесплатно». Принцип платности всего и вся стал условием возникновения гиперкапиталистического социального уклада, при котором стоимость превратилась в основной критерий качества, а конкурентоспособность оказалась не только смыслом жизни, но и ее каждодневным условием.

Цель этих организаций отныне – не в передаче знаний и осуществлении социализации, а в предоставлении специфических услуг. С одной стороны, это услуги, имеющие четкий клиентский характер – каждый подбирает потребительскую корзину образовательных продуктов в соответствии со своими индивидуальными запросами. С другой – сервисный подход к образованию исполняет общесоциальную и общегосударственную миссию, сопряженную с кадровым пополнением рынка труда.

Превращение образования в разновидность сервисной деятельности выдвинуло на передний план проблему аккредитации и лицензирования многочисленных поставщиков образовательных услуг.

Фоновыми моментами реформирования образовательной системы явились:

- принятие принципов Болонской декларации (и установление двухступенчатой модели обучения);
- введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ);
- обсуждение вопроса о государственном финансировании образовательных услуг (в форме Государственных именных финансовых обязательств, ГИФО).

Вместе с тем, несмотря на важность всех перечисленных нововведений, они только оттеняют собой процесс внутреннего

всегда хитрее нас), нежели рефлексивную рецептуру, предлагаемую патентованными специалистами.

Впрочем, у интеллигенции все еще есть определенный шанс заняться продуцированием и тиражированием инновационных моделей самообмана. Однако чтобы им воспользоваться, необходимо понять как самообман разоблачительный дискурс.

реструктурирования образования, связанный с его существованием в среде гиперрынка.

Именно поэтому основной вопрос развития образования касается не отдельных аспектов его реформы, а адаптации всей системы образования к условиям, связанным с безмерным расширением рыночного пространства (причем необходимо учитывать, что вузы не только реагируют на имеющийся спрос, но и могут самым непосредственным образом влиять на его формирование). Основная проблема заключается здесь именно в том, что система образования фактически не дает никакого особенного ответа на обозначенные вызовы, любой ценой вживается в роль «обычного» рыночного игрока. Говоря иначе, ответ системы образования не может считаться полноценным, потому что она закладывает в него лишь реакцию (всегда запаздывающую), не берясь управлять рыночными ситуациями, в которые оказываются вовлечены ее контрагенты.

Избирая наиболее простую схему подчинения рынку, вузы обрекают себя на осуществление инерционной деятельности, собственно экономическое содержание которой сводится к тому, чтобы постоянно отставать от того, что представители вузовского топ-менеджмента определяют как «требования рынка».

Видя свою стезю в занятиях образованием, вузовские функционеры отечественной образовательной системы забывают о том, что образовывать и значит, помимо всего прочего, формировать спрос, а не только предложение.

Вопреки этому участники образовательного рынка относятся к своей деятельности так, как если бы действовали по принципу: «Для нас это только бизнес».

Наиболее показательна с этой точки зрения номенклатура новых высших учебных заведений, прежде всего негосударственных: многочисленные комбинации слов «бизнес», «экономика», «менеджмент» и «право» выступают подтверждениями подспудного представления о том, что, чему бы теперь ни учили, настоящим «предметом» обучения должна выступать именно рыночная активность.

Одновременно образование остается сферой, где наряду с государственно-политической деятельностью сохраняется наиболее высокий уровень коррупционного, «теневого» предпринимательства. Музеев, больниц и вузов в России процесс приватизации не коснулся (хотя существует целый ряд деятелей образования, которые за нее ратуют). При этом именно в государственной вузовской системе существуют не только доста-

точно широкие возможности оказания платных услуг, но и не менее широкие перспективы для создания дочерних бизнес-предприятий (которые распоряжаются фондами, оборудованием, техническими средствами и, не в последнюю очередь, персоналом госвуза).

Образовательная монополия

Гиперрынок создает ситуацию гипермонополизма, причем этот гипермонополизм едва ли не в первую очередь связан с «постиндустриальным» сегментом экономики – сферой услуг. Однако в отличие от стран Запада образцовою услугой оказывается у нас не интеллектуальный (экспертный) сервис, а политическое представительство с такой сервисной атрибутикой, как бюрократический прессинг, мобилизация групп влияния, корпоративизм, государственное рейдерство, назначение олигархов. Коррупционным является сам принцип экономической организации, когда наиболее эффективным собственником *de facto* становится тот, кто в состоянии аккумулировать наибольший административный ресурс.

Гипермонополизм обозначает собой предельную иерархизацию социальных сред, которая воспроизводит структуру социального расслоения в целом (в России, как известно, один из самых высоких показателей неравенства доходов наиболее богатых и наиболее бедных граждан). Формирование гиперрынка привело, таким образом, к повсеместному распространению нефеодалного типа хозяйственной деятельности, выражающегося в феномене вотчинного предпринимательства. Вотчинное предпринимательство предполагает обладание должностным статусом, который открывает возможность относиться к институциональной инфраструктуре, находящейся в ведении вотчинника, как к превращенной форме экономического капитала. В то же время капитализация должностного статуса выступает главенствующим условием его обладания: неумение извлекать статусную ренту служит показателем должностной несостоятельности и управленческой неэффективности.

Все это в полной мере касается школ и вузов – государственных и негосударственных организаций, отвечающих за процесс социального воспроизводства. Образовательная система существует как агломерация учреждений, в совокупности функционирующих как естественная монополия. При этом статус естественной монополии приобретает этими учреждениями

ями не по причине эксклюзивного доступа к сырьевым ресурсам, а в силу эксклюзивности предоставляемых услуг. Это, однако, не отменяет и сырьевого прочтения функций образовательной системы, причем реформа образования приводит в данном случае к ошутимому изменению акцентов.

Если реформирование других естественных монополий проходит в рамках общего тренда демонополизации экономики, то в случае с образованием наблюдается обратная тенденция: рыночная переориентация образовательной системы ведет к тому, что на последнюю возлагается миссия по капитализации человеческого ресурса.

Капитализация человеческого в человеке отличается от описанной Марксом процедуры накопления экономического капитала путем присвоения прибавочной стоимости.

Прибавочная стоимость получается из разницы между величиной заработной платы и стоимостью произведенного трудом продукта. В присвоении прибавочной стоимости заключается механизм экономической власти, которая выражается в разнообразных проявлениях эксплуатации. Прибавочная стоимость – совершенно реальная вещь, но она не связана с накоплением человеческого капитала. Тут действует другой механизм, соотносящийся с действующим не экономической, а символической власти.

Символическая власть действует на уровне личных мотиваций и свободного выбора. Поскольку ее стихия не принуждение, а побуждение, можно сказать, что она управляет не детерминациями (как экономическая власть), а возможностями. При этом накопление символической власти – это структурирование и отчасти лимитирование возможностей (в последнем случае она сливается с политической властью). Однако концентрация возможностей ведет к неуклонному возрастанию рисков. И именно риски оказываются неуклонно возрастающей издержкой накопления символической власти и капитализации человеческого ресурса.

Общество, в котором воплощается ставка на получивший неслыханную рекламу «человеческий фактор», с неизбежностью превращается в общество риска. Пропагандируемое гуманистами всех мастей усиление роли «человеческого фактора» оборачивается новой формой эксплуатации людей, последствия которой пострашнее любых эксцессов экономического тоталитаризма (хотя и находятся с ними в генетической связи). Марксова идея пауперизации рабочего класса состоит в том, что рабочие обречены на обнищание по факту того, что скорость повышения их доходов будет отставать от скорости концентрации капитала. По аналогии с этим тезисом можно сказать, что возраста-

ние возможностей, происходящее по мере увеличения внимания к «человеческому фактору», будет опережаться издержками, которые возникают в результате предопределяющей действие этого фактора капитализации человеческих ресурсов.

Капитализация человеческих ресурсов – это практика загонки чистых социальных энергий, отделенных от их носителей и подчиненных принципу чистой эффективности. Главное условие владения ими – абсолютная управляемость «человеческого фактора», но именно эта управляемость делает неуправляемой простую человеческую повседневность, превращает в рискованные затеи самые простые виды действий, ставит под угрозу неизвестности наиболее рутинные в прошлом уклады жизни. Возникающее при этом общество риска является одновременно и обществом богатых возможностей, и обществом неопределенности (конингентности). Подобное положение дел также соотносится с ситуацией гиперкапитализма, гиперрынка, которая весьма характерна и для современной России.

Процесс аккумуляирования человеческого капитала с неизбежностью ведет к монополизации образовательной системы, которая начинает отвечать за поставки кадрового сырья на рынок труда. Иными словами, смысл трансформаций, произошедших с образованием за последние 15 лет, и в особенности за последние 8 лет, состоит в том, что последнее превратилось в институциональную структуру, которая ответственна за формирование человеческого капитала (причем то, что оказывает сопротивление подобной капитализации, автоматически перестает восприниматься как достояние человеческого существа).

Человек отныне не просто обучается и социализируется, любые наличествующие в нем задатки рассматриваются с точки зрения их значения для его будущей конкурентоспособности. Образование – прежде всего, конечно, так называемое бизнес-образование – становится циклопической по своему масштабу структурой по преобразованию личных качеств в конкурентные преимущества, значимые для системы бизнес-отношений, которая, как известно, не терпит ничего личного. Именно в этом заключается суть того, что произошло с образовательной системой в эпоху правления Владимира Путина. Сделавшись монополией, в ведении которой находится капитализация человеческого в человеке, образование не просто превратилось в рыночную институцию. Оно оказалось посредующим звеном между будущим и рынком – воспроизводственные процессы оказались в тотальной зависимости от конъюнктуры спроса и предложения на рынке труда.

Образование выступает основополагающей структурой приобщения к порядку. Рынок представляет собой главенству-

ющую форму социального порядка, императивом которого выступает капитализация жизни. Приобщение к такому порядку должно предполагать тождество капитализации и социализации. Рыночная модернизация образования выражается именно в таком отождествлении. При этом возникает встречный процесс: видоизменившееся под влиянием рынка образование трансформирует сам рынок из социальной структуры в ментальную¹. Но если 90-е годы с точки зрения развития образовательной системы характеризовались простым подчинением ее рынку, то 2000-е обозначили принципиально другой этап: рынок стал основополагающей формой мышления и восприятия мира. И это выступает главенствующим фактором превращения рынка в гиперрынок.

Подобная трансформация порождает целую серию затруднений сугубо эпистемического порядка, ибо ни один другой институт на оказывает такого воздействия на принятую модель анализа общественной реальности, как образование. Мы мыслим об образовании так, как оно дало возможность нам мыслить, и умеем это делать ровно в той мере, в какой оно нас этому научило. Подчинение образования рынку означает то, что рынок превращается в усвоенный (интериоризованный) нами познавательный механизм, вводящий запрет на одни формы знания и поощряющий получение других.

¹ Симптоматично, что подобная трансформация в первую очередь касается чиновников и управленцев, занятых в образовательной сфере. Более того, именно академические и вузовские администраторы нередко выступают носителями канонического и даже несколько неправдоподобного в своей категоричности рыночного сознания. Мне вспоминается интервью с одной известной в прошлом министерской радательницей надзора и качества образования, которое бралось мной в бытность главным редактором журнала «Платное образование». На скромный вопрос об оправданности невиданного роста числа вузов при, мягко говоря, серьезном ухудшении качества образования статусная министерская дама ответствовала, глядя на меня с каким-то недобрým удивлением: «А таково сегодня требование рынка, рынок сам решает, сколько и чего нужно, сам все расставляет по местам». Именно так – рынок выступает мистической структурой, которая сама за всех думает, все за всех решает, каждому сверхку определяет его шесток и ничего не упускает из виду...

Глава 10

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ

Судьба утопии

Отвечая за возможность существования общества в будущем, образовательные институты сами нацелены на то, чтобы сохраняться в неизменности, лимитировать изменения, откладывая их или по крайней мере сводя к минимуму. Известная скептическая поговорка, согласно которой образование учит нас жить в несуществующем мире, должна пониматься с точностью до наоборот: **образование делает достоянием повседневности утопические горизонты существования.** При этом образовательные утопии всегда носят консервативный и отчасти даже ностальгический характер. Образовательная деятельность разворачивается в модусе «будущее-в-прошедшем», соответствуя практикам инстарации, раскрывающим возможности, некогда оставленные без внимания или преданные забвению.

Функционирование любого общественного института связано со своеобразным сопротивлением времени. Любой общественный институт воплощает специфический набор способов отсрочки перемен, которые находят выражение в стратегиях пролонгации существования, неповторимых для каждого типа учреждений. В случае с образованием подобная стратегия приобретает хрестоматийный (во всех смыслах слова!) характер: всем известен «спасительный консерватизм» образовательной системы. Последняя отвечает за перемены в обществе именно потому, что всеми силами избегает перемен в собственном устройстве.

Можно сказать, что, подобно тому, как матрешка скрывает в себе свою уменьшенную копию, современное общество скрывает в себе традиционное общество, то есть особый пласт объективированных отношений, все существование которых сопряжено не с производством нового, но с воспроиз-

водством уже существующего (причем с воспроизводством, подчиненным логике «традирования»).

Образование представляет собой деятельность, которая не просто объемлет или фиксирует традиции, но делает их сохранение условием существования общества в будущем. Технократическое понимание назначения системы образования связано с тем, что сравнение института с механизмом утрачивает черты метафоры. При этом образовательные и не только образовательные институты не функционируют в автоматическом режиме, необходима постоянная наладка их механизмов.

Рынок в отечественном понимании всегда был средством снять с себя ответственность за этот процесс наладки. Либеральный тезис о «невидимой руке рынка», которая все расставляет по своим местам, приобрел в наших условиях статус одновременно этической максимы и онтологического аргумента. Рыночные отношения были восприняты, с одной стороны, как среда ничем не ограниченной самоорганизации, где любой субъект чувствует себя «как в природе» и все можно пустить на самотек, а с другой – как арена деятельности автоматизированных систем, среди которых самыми машиноподобными существами являются люди. В качестве организационного феномена российский рынок воплотил в себе сочетание предельного натурализма с предельным механицизмом.

Болезненнее всего это сказалось на системе образования, поскольку ее организационная структура, требующая постоянного вмешательства «настройщика», оказалась отданной на откуп рынку, а вот субъекты, вовлеченные в образовательную деятельность, рассматриваются как обучаемые машины. Государство утверждает образовательные стандарты, выдает лицензии вузам, производит их аккредитацию, но не формулирует целей образования. Образовательная система функционирует в инерционном режиме, что оборачивается в том числе и многочисленными «техническими» сбоями.

Техника целеполагания

Образование функционирует как технология целей, а не средств. Однако главный кризис современного российского общества связан именно с целеполаганием. Университет имеет отношение к самой целесообразности «как таковой»; его миссия не столько в осознании порядка, сколько в формировании

порядков осознания, то есть в управлении знанием, познанием и сознанием на уровне создания их матриц.

В позднесоветскую эпоху образование ставило перед собой общегуманистические «интернационалистские» цели. Кризис советского проекта ранее всего проявился в рамках существовавшей модели образования, которое так и не стало системой воспроизводства советской цивилизации (прежде всего ее ментальных устоев). Советская цивилизация меньше всего осознавала себя как цивилизация, поэтому советское образование было не подспорьем, а препятствием в таком осознании. Идеология советского образования в послевоенную эпоху – это идеология борьбы за мир, которая рано или поздно должна была трансформироваться в идеологию «общечеловеческих ценностей». Однако утверждение идеологии «общечеловеческих ценностей» фактически равносильно деидеологизации.

Состояние деидеологизации образования подразумевает открытость для наиболее агрессивных идеологических веяний, ничто уже не может защитить от их влияния. Говоря иначе, если ты сам не в состоянии сформулировать собственные цели, за тебя это сделает кто-то другой. Образование, не являющееся практикумом целеполагания, не может соответствовать своему статусу.

Сегодня с систематической постановкой целей связана деятельность только двух типов учебных заведений: национальных школ, с одной стороны, и вузов, специализирующихся в области естествознания, – с другой. В первом случае целью выступает культивация этничности, во втором – обратившаяся в культ наука.

Фирменный технократизм путинской эпохи еще не обозначил создания технологии целей. Однако, безусловно, эта эпоха стала временем, когда технология целей превратилась в условие и ориентир для дальнейшего развития. Новый шаг в этом направлении – формирование навыков стратегического мышления, обучение техникам символической власти, ознакомление с новейшими рефлексивными методиками, которое должно начинаться еще со школы. Иными словами, образование должно стать институциональной средой развития самосознания, в которой местом локализации выступает коллективное тело нации.

При этом соединение связанных с самосознанием практик субъективации и национально-государственных форм жизнедеятельности не является, вопреки Гегелю, неизбежным и надежно гарантированным мудростью исторического разума. Эта встреча возможна лишь при условии превращения политик знания, политик мысли в основополагающие мироустроительные практики (в зависимости от которых должна находиться и

Realpolitik со свойственным ей притязанием на то, чтобы подменять стратегические запросы сиюминутными тактическими решениями). Подобное превращение и есть непреложное условие современного цивилизационного бытия.

Цивилизация, в нашем понимании, представляет собой набор жизнеорганизующих кодов, системе которых соответствует своя особая модель объединения природы и культуры в континуум. Любая цивилизация и есть уникальный континуум природы и культуры. При этом жизнеорганизующие коды должны пониматься не как автоматически действующие механизмы, но как предметы и одновременно способы рефлексии, которая лишь при таком раскладе принимает облик планомерного мироустройства.

В этом смысле ключевую роль для России сыграл советский период ее истории – прежде всего потому, что именно тогда мироустройство стало по-настоящему рефлексивным (хотя сама рефлексия и осуществлялась в рамках предписаний заемной идеологии). Разумеется, марксова идея подчинения исторического процесса принципу планомерности не сработала в данном случае буквально. Тем не менее, воспринятая в качестве нового жизнеустроительного кода, она оснастила российскую цивилизацию рефлексивным отношением к собственному будущему (без этого отношения ни одна цивилизация после модерна не может пройти тест на дееспособность). Это повлияло и на судьбу марксизма как наиболее радикальной концепции модернистского переустройства жизни: из теории научного объяснения объективного хода истории он превратился в практику рациональной реорганизации жизни, положив начало многочисленным стратегиям управления будущим.

Постсоветская модель существования строилась и все еще пока строится на разделении мироустройства и технократии. Сделав собственным императивом функциональность и функциональные нужды, технократия не только оттеснила, но и выхолостила мироустройство. Последнее перестало восприниматься как набор практических умений и было перенесено в сферу чистого духа (что бы ни выступало его мистической субстанцией).

Ключевую роль в произошедшей трансформации сыграло шестидесятиничество: его жизненный проект характеризует, с одной стороны, абстрактная морализация на тему добра и зла (причем добро и зло множество раз могут меняться местами), а с другой – тренд «управление ради управления», когда средства виляют целями, как хвост собакой.

С наибольшей полнотой это наивное и пагубное разделение «нравственного» и «технического» воплотилось в идеологиче-

ском наследии академика Сахарова. Это наследие до сих пор не преодолено. Более того, сахаровский тренд в политике сохранил полнейшую жизнеспособность в ситуации произошедшего в 1990-е годы краха интеллигенции, с которой, как казалось, этот тренд был генетически связан. Интеллигенция либо трансформировалась в категорию менеджеров, либо перешла в категорию бюджетников (то есть «деклассировалась» в собственном смысле этого слова).

Как казалось, в выражении шестидесятилетней идеологии до определенного момента состояла и суть путинского правления. Во второй срок что-то начало существенно меняться. Теперь, в эпоху Медведева, изменения усиливаются. И как никогда остро стоит вопрос об основательном преобразовании этого технократизма, который из методологии институционально-прескриптивного кодирования рефлексии должен превратиться в ее подспорье и стимул.

Нет другого способа сделать это, кроме как поставить технократическую линию в политике под вопрос, исследовать ее истоки (восходящие, по крайней мере, к Андропову). В общем, сделать все, чтобы из данности она стала проблемой.

Именно коллективное и публичное размышление о современной политической технократии сможет сделать ее чем-то большим, чем она является в настоящий момент, преодолев изжившую себя противоположность между «нравственностью» и «техникой», «духом» и «плотью», «ценностями» и «умениями».

Худший способ избежать этого – компенсировать блокировку такого размышления отсылкой к надмирным постулатам духа, что проявляется в ползучей клерикализации социально-политической мысли. Надмирные постулаты как нельзя лучше соотносятся с интересами вполне мирских высокопоставленных лиц, и это соотношение идеально подходит для того, чтобы выдавать собственные лоббистские тактики за провиденциальные стратегии (которые столь масштабны, что оказываются хронически незаметными простому смертному).

Против клерикализма

Происходящая клерикализация русского общественного сознания заслуживает отдельного внимания. Ни для кого не секрет, что в нашем обществе существует огромный запрос на клерикализм. И этот запрос возрастает день ото дня. Верный признак роста – «общественная» (читай: публицистическая) реакция на

уже ставшее знаменитым письмо десяти академиков Путину. Клерикализм в данном случае нужно понимать сугубо буквально: как теорию и практику, нацеленную, с одной стороны, на огосударствление церкви, а с другой – на демонтаж светского государства. Это вам не какое-то отвлеченно-культурологическое «Новое Средневековье» в духе Умберто Эко, это вполне конкретное возведение Средневековья в норму жизни.

Оговорюсь сразу: я далек от того, чтобы относиться к этому с априорным предубеждением, уместным для горячих поклонников технократического модерна. Меньше всего для меня приемлемо восприятие науки с точки зрения модернистского убеждения в непогрешимости ее авторитета, в силу давней исторической неточности почему-то поименованного «истиной». Секуляризованная, атеистическая наука, в которой не остается места для теологических рассуждений и проблем, апеллирует к столь же односторонней картине мира, как и картина мира средневековых теологов, не оставляющих места для самостоятельной развивающейся природы и описывающих ее физики, биологии и химии.

Вместе с тем опасность нынешнего клерикалистского брожения в умах состоит именно в том, что возвращение к средневековому мировосприятию понимается в рамках канона модернистского «открытия», которое теряет всякие отличия от «откровения». Любая «необъяснимость» при этом трактуется как проявление непостижимой божественной воли, которая права в любом случае (причем права именно потому, что является непостижимой).

Наиболее остро проявляется это именно в политике: ни для кого не секрет, что православная церковь, при всех ее имеющихся неоспоримых достоинствах, чрезвычайно далека от рефлексии по поводу любых сколько-нибудь насущных светских вопросов – будь то эвтаназия, СПИД, этническое размежевание, однополюсные взаимоотношения или издержки государственно-политических решений. Во всех без исключения случаях высказывания церковных иерархов по этим и подобным вопросам представляют собой разбавленные цитатами из Писания указания кремлевского агитпропа. Тонкость заключается лишь в том, что, подкрепляя своим авторитетом эти ценные указания, Церковь автоматически делает их «бесценными».

Так вот, именно эта характерная для нашей Церкви безгловая незабоченность «мирскими» вопросами возводится государственной бюрократией в ранг модельной реакции гражданского общества на любые события политической жизни. Подобный подход уместно было бы назвать «заинтересованным невмешательством», воплощающим новейшее решение проблемы разграничения сфер влияния Бога и Кесаря.

Отработанная до мелочей процедура «заинтересованного невмешательства» доведена до состояния господствующей социальной технологии, выдающейся за историческое завоевание с поистине модернистской воодушевленностью. Церковь привносит религиозные сюжеты в деятельность государства, предоставляя свои праздники, свою интерпретацию истории, своих демонов и своих святых.

При этом Церковь оказывается единственной инстанцией, способной нечто *канонизировать*. В ситуации кризиса главенствующих политических идеологий, которые оказываются в состоянии нечто провозглашать, но уже ничего не могут определять, это даже своеобразное благо. Оно позволяет побороть царящую в умах и сердцах неопределенность.

Однако неизбежной издержкой в данном случае выступает безбрежная клерикализация, которой нельзя поставить заслон и которую невозможно даже в точности определить.

Если Церковь огосударвляется, а государство оказывается интегрированным в Церковь, исчезают всякие границы между светским и священным, профанным и святым. Государство при этом если не буквально сакрализуется, то обретает при этом искомую легитимность (которую при решении светских вопросов снискать существенно труднее).

Согласованность «православного» осуждения академиков, которые, по мнению воцерковленной прогрессивной общественности, не сведущи в вопросах креационизма, призывают к воинствующему материализму, ни черта смыслят в Законе Божьем и вообще идут совсем не в ногу со временем, служит примечательным симптомом – время, в сущности, диктует сегодня только одно: лояльность есть высшая добродетель человека и гражданина.

Наука, разумеется, не должна обладать монополией на критику (в советские времена даже прокурорские речи было принято исполнять в рамках риторики «строгой научности»). Однако, как только наука лишается притязаний на эту монополию, критика исчезает как жанр публичного высказывания.

Причина подобной зависимости проста: требование лояльности оборачивается **запретом на знание основ и принципов мира и общества, в которых мы существуем**. Все создано навсегда, «по воле Божьей». Постичь тайны государевых решений так же сложно, как и выведать божественные намерения. Сие разуму простого смертного недоступно. «Тут уж ничего не попишешь». Научные «занятия» в этом контексте становятся тем, чем были некогда во времена абсолютизма: развлечением, которое радуется новыми техническими игрушками, ле-

карством от скуки, позволяющим тонизировать пресыщенную чувственность.

Науке отводится роль Левши, находящегося на положении крепостного подмастерья, вынужденного тем не менее обузывать все более миниатюрных блох. Натасканная на ловлю блох, но важная для прикрытия распила денег на «наноуровне», наука с институциональной точки зрения исподволь лишается всякой автономии, превращается в очередное чиновничье подразделение. Разумеется, при наличии вышестоящего подразделения «эффективных менеджеров», поставленных присматривать за нешуточной рановской собственностью. При этом для Церкви (или, как принято выражаться на политкорректном новоязе, для «церквей») никакого Священного синода (читай: Наблюдательного совета) не предусмотрено. И не над кем простереть свои совиные крыла новому Победоносцеву.

Это означает довольно простую вещь: Церковь (теперь уж точно в единственном числе) инкорпорирована в новые бюрократические структуры отнюдь не на птичьих правах «члена-корреспондента», а академия в них не особенно вхожа. При этом Церковь, как и во времена Средневековья, превращена в могущественный хозяйственно-экономический субъект.

Наука же обречена на госдотации (размер тут первостепенного значения не имеет), ибо требует долгосрочных инвестиций и не предполагает скорой отдачи вложений (в отличие от любой разновидности свечного завода).

Это и есть стратегическая линия, против которой попытались возразить академики. Попытались – и вызвали шквал обвинений: в атеизме, доносительстве и даже (когда аргументы кончились!) – в плохом литературном стиле. Уровень, а главное общая направленность аргументов свидетельствуют о том, что единственной религией прогрессивной общественности является **государственничество, ряженое в фодудью**. Все истосковались по службе, порядку и церемониалу, видя в них воплощение нового «большого стиля». Православие при этом находится с бюрократией в тех же отношениях, что протестантизм – с рынком: они идеально подходят друг другу. Более того, православие выступает оптимальной религией победоносной бюрократизации, воплощающей ставку на отождествление иерархии с «духовным смыслом».

Справедливости ради стоит признать, что возмущение академиков предложением начать преподавание в школах «Основ православной культуры» и ввести в ваковский перечень дисциплину «теология» не в последнюю очередь вызвано утратой

академией (и наукой в целом) миссии светской церкви, которую она с успехом исполняла в советские годы.

Нынешний церковный клерикализм больше всего бьет по прежнему, научному.

Это отражается и на личных представлениях о смысле прожитой жизни – тут академикам можно лишь посочувствовать: маятник качнулся в другом, совсем не в их направлении.

Однако есть некое более значимое, во всяком случае не только биографическое, обстоятельство. Прогрессивная общественность, на наивной отсылке к которой строилась советская вера в научно-технический прогресс, осталась. И не сделалась менее прогрессивной. Но с некоторых пор – и притом довольно давно – она *воцерковилась*. И перестала ассоциировать прогресс с наукой. Прогрессивными стали интуиция, мистицизм, прогрессивными сделались разнообразные «прозрения».

В этом не было бы ничего особенного, если бы мистическое чувство не срослось до такой степени с экономическим чутьем, а манипуляция «духовными» и «духоподъемными» объектами не стала бы признаком пришествия информационной экономики и воцарения общества инноваций. Так выглядит сегодня невероятная прежде смесь сакрального и профанного, экономики и благодати, выгоды и жертвы, составляющая главную, по сути, черту нашего времени.

Преимственность в эпоху технической воспроизводимости

Клерикализация публичного дискурса и все большее выдвигание Церкви в качестве институции, формирующей каркас легитимных политических суждений, совпадает с кризисом университетского образования. На протяжении последнего десятилетия гумбольдтовско-кантовская модель «универсального» университета, распространенная прежде в России, если не ушла в прошлое, то по крайней мере радикально изменила свой смысл.

Это соотносится с общемировой тенденцией, когда метафизика университетского знания оказалась не столько «деконструированной», сколько попросту помысленной как техническое завоевание и одновременно технологическая проблема. Начиная с **Мартина Хайдеггера** изначальная техническая ангажированность мысли, ее «технологичность», были осознаны через демонстрацию сродства метафизики и манипуляции (в том числе спекулятивной). В зоне притяжения хайдеггеровской мысли находятся **Жак Деррида**, **Жан-Люк Нанси**, **Петер**

Слотердайт и некоторые другие теоретики, на разных примерах (наука, антропология, теология) показывающие, насколько это сродство избирательно и в то же время неизбежно.

Путинское правление, кульминацией которого явилась идеология национального проектирования, запечатлевает в себе неосознанное, но от того не менее последовательное воплощение идеи технонауки.

«Входит в силу понятие “технонауки”, – пишет Жак Деррида, – и это подтверждает, что имеется существенное сродство между объективным знанием, разумным основанием и известного рода метафизической определенностью отношения к истине. Словом, сегодня, в рамках современного порядка вещей, больше невозможно – о чем и напоминает Хайдеггер, призывая это помыслить – отделять разумное основание от идеи техники. Невозможно сохранить в неприкосновенности тот рубеж, посредством которого Кант, например, разрабатывая общую систематическую организацию знания, то есть ту самую организацию, которой предстояло стать основой систематической организации Университета, пытался разделить “техническую” и “архитектоническую” схемы»¹.

Проще говоря, все, что связано с приобретением знаний и передачей их из поколения в поколение, рассматривается теперь с функциональных позиций, выступает предметом проектной деятельности и управленческих решений. При этом статус проекта приобретает весь мир, а управление начинает затрагивать любой аспект человеческого существования.

«Технонаучное» слияние менеджмента и проектирования под знаком их общей сопричастности проблематике мироустройства характеризует собой позднепутинскую идеологию национальных проектов. Конечной целью этих проектов выступает конструирование самой российской нации, существование которой мыслится при таком раскладе как «дело техники», то есть одновременно как безбрежное поле для манипуляций и абсолютно пластичный объект с постоянно корректируемыми параметрами. Именно это технократическое отношение к миру выступает главным достоянием, переданным Медведеву.

Политический смысл преемничества, лейтмотивом которого оказывается незыблемость технократии, проливает свет на сформировавшиеся принципы общественного воспроизводства.

Авангард общественного воспроизводства – технократический класс, в который должна трансформироваться прежняя

¹ Деррида Ж. Университет глазами его питомцев. 2003. № 6; см. об этом также: Кьюсев А. Университет между фактами и нормами. Отечественные записки. 2002. № 2.

бюрократия. Постоянно накатывающие волны «борьбы с коррупцией», дополненные медведевским тезисом о «правовом государстве» и торжестве судебной власти, связаны именно с этой трансформацией бюрократической касты в технократическую, когда профессиональный чиновник должен научиться исполнять миссию светского жреца. В сущности, речь идет о довольно старом представлении о бюрократе как агенте рациональности, планомерности и прогресса, которое было растиражировано многими очень разными теоретиками – от Вебера до Ленина.

Разница путинской и медведевской эпох состоит в том, что сегодня никакая технократия не может держаться на принципах «машинного» политического производства, то есть на представлении об автоматически самоорганизующихся институциональных системах. Образцовой «машиной» такого рода в эпоху собственного правления был сам Путин. Его относительный уход в тень символизировал срастание технократии с биополитикой, когда наиболее эффективные способы управления строятся на признании управляемого объекта не механизмом (пусть даже и очень сложным), а живущим по своим законам и ритмам «телом». Менеджмент, основанный на инставрационной методологии взращивания органических связей, оказывается не в пример успешнее менеджмента, наследующего ленинско-сталинскую идеологию людей-винтиков, живущих в обществах-фабриках. И дело совсем не в том, что такой менеджмент «гуманнее», а в том, что он не в пример более продуктивен. Пресловутая гуманизация управленческих технологий в огромное количество раз повышает отдачу от политического производства.

Роль образования в осуществлении такой гуманизации невозможно переоценить. Функциональность бюрократии измеряется отныне не ее общеуправленческой компетенцией в целом, а суммой отраслевых управленческих навыков.

Современный менеджмент основан на эмерджентном, а не кумулятивном подходе к управлению. Данный подход строится не на совпадающем со статусным ростом приращении управленческого опыта, а на превращении самого управления в опыт¹. Ус-

¹ Подобная установка отчетливо проглядывается в словах Владислава Суркова, который предостерегает от нефеодалного застывания бюрократии, путающей должностные привилегии с технико-политическими умениями и навыками: «Всеобщая нацеленность на пожизненное присутствие на своих постах – от этого нужно избавляться. Мы видим людей, которые руководят важными территориями, сколько существует новая Россия. На мой взгляд, не должно быть никакой пожизненной власти. Нельзя быть пожизненным чемпионом мира по футболу. Не может быть Плющенко всегда чемпионом мира» [цит. по: <http://www.rambler.ru/news/press/russianpress/12969378.html>].

пех административной деятельности измеряется сегодня умением действовать в сложных ситуациях, готовностью к риску и игровой активности, пониманием неизбежной непредсказуемости социальных процессов. Владение антикризисными методиками администрирования превращается в повседневный навык управленца, что имеет, конечно, и свои издержки, поскольку с соответствующими мерками начинают подходить к решению любой возникающей проблемы.

В образовании на смену советской идеологии политехнического образования пришла идеология отраслевой образовательной технократии. Ее принципиальной ставкой является представление о том, что ценность образования находится в зоне ведения не универсальной, а корпоративной этики, которая выступает законной наследницей первой в эпоху неотехнократического реванша. Пафос современной корпоративной этики основан на виртуозной подмене универсальных ценностей общезначимыми в рамках корпорации интересами¹. Роль образования в процессе трансформации интересов в ценности еще предстоит оценить, хотя уже сейчас ясно, что именно усвоение корпоративных интересов в ходе реализации отраслевого подхода к обучению есть необходимое условие описанной подмены.

Для того чтобы эта подмена осуществилась, необходимо найти общий знаменатель для интересов и ценностей, форму их максимально нейтрального совместного обозначения. Ценности должны стать достаточно нейтральными, интересы – вполне приемлемыми. Претерпев подобную трансформацию, они оказываются слитыми воедино в рамках одного общего понятия: «информация».

Тренд «информационная экономика» идеально подходит для создания такой амальгамы. Это и ориентир, к которому следует стремиться, и способ «оптимальной» организации деятельности, и новый символ Современности, и стратегия осуществления изменений. В то же время это еще и институциональный феномен, который позволяет увязать образование и преобразования.

Помимо этого информационная экономика предполагает еще и победу меркантилизма в политике, который становится главенствующей социальной технологией и одновременно основным направлением мо-

¹ См. об этом, в частности: http://www.russ.ru/stat_i/etika_i_filosofskie_sovokupleniya

ральной рефлексии². Восприятие и опыт сопрягаются уже не в психодраме индивидуального существования, а в политико-производственной драме социализации комплексов и капитализации способностей.

Ее героями выступают вовсе не частные лица, вдохновленные целями и устремлениями, а коллективные тела, потребляющие услуги. На макроуровне они выглядят как живые организмы, дальние родственники гоббсова Левиафана, на микроуровне – это абсолютно механистические образования, антропоморфные киборги со сменными пакетами социокультурного софта и биосом «рационального выбора».

Именно эти технологизированные существа без сущности, с легкопротезируемой мировоззренческой оснасткой, выступают объектами **биополитики**: чтобы существовать, нужно быть чем-то меньшим, чем ты есть. За коллективные тела в целом отвечает уже не биополитика, а **технополитика**, которая обеспечивает сохранность социальных организмов методом гуманной замены институциональных органов и апгрейда трансгуманистических матриц существования: чтобы существовать, нужно быть чем-то большим, чем ты есть. Технополитика стала стратегией Путина, биополитика на наших глазах становится стратегией Медведева. Залогом этого выступает второе пришествие либерализма, вновь начинающего занимать чуть ли не главенствующее место на авансцене отечественной мысли.

¹ Ирония и самоирония давно уже стали основными стратегиями самооправдания посредственности в культуре. Но и с социологической точки зрения ироническое остранение давно уже превратилось в атрибут самоидентификации среднего класса («Иронизирую – следовательно, существую!»). Именно поэтому ничто не может считаться более убийственным свидетельством подлинного морального выбора, нежели распространенная в среде клерков («офисного планктона») псевдоироническая вульгата: «Бабло победило зло!».

Вместо заключения

НОВЫЙ ФУТУРИЗМ

Какие бы перемены ни ожидали определенное общество, лучшим из перспектив информационной экономики покажется то будущее, которое будет соответствовать господствующим сегодня техникам оформления (или, буквально, ин-формирования) бытия.

Ин-формирование бытия подчиняет его эстезису дизайна, информация превращает мир в сеть. В сетевой феномен преобразуется и человеческая идентичность. Дизайн оборачивается Dasein, здесь-бытием, которое не просто воплощает человеческое присутствие, но делает его производной сетевого доступа к сообществу прошлых, настоящих и будущих поколений. Из перспективы вхождения в сеть любая индивидуальная неповторимость – не просто разменная монета, но побочный продукт стереотипизации людей, осуществляемой в рамках политического производства.

Роль образования в этих процессах огромна. Оно помещает происходящие изменения в горизонт неопределенно далекого будущего. Горизонт этого будущего и есть то, что обычно называется идеалом. Рассмотренная из перспективы общественно-идеала проблематика образования трансформируется в проблематику менеджмента познавательных процессов. Менеджмент познавательных процессов распространяется на:

- **управление сферой воображаемого** – мы вступаем в эпоху новых мифологий, которые порождаются не недостатком знаний, как в архаическую эпоху, а их переизбытком.

Хроническое перепроизводство информационных ресурсов создает условия для создания более разнообразных мифологических систем, которые могут полностью не принимать во

внимание существование друг друга. В отличие от времен архаики они соотносятся не с конкретной историей, которой придается статус универсального события, а с событиями, которым благодаря мифу пытаются придать исторический смысл. Однако с течением времени эти мифологические системы оказываются все менее долговечными, они просто-напросто легче забываются. Классическими современными мифами оказываются наиболее политизированные биографии, теории, порожденные предельно острыми формами борьбы за истину, самые парадоксальные и противоречивые тренды;

- **управление способностью суждения** – менеджмент вообразяемого непосредственно соотносится с управлением вкусами и «способностью суждения» (в кантовском смысле). Собственно именно к способности суждения и сводится политика не только на ее повседневно-массовом уровне, но и на уровне принятия основополагающих решений. Превращаясь в предмет вкусовых оценок, в область вкусов, о которых не стыдно и поспорить, политика делается рефлексивной, даже гиперрефлексивной процедурой (в том числе и потому, что «все о ней думают»). Проблема только в том, что, подобно эстетическому мировосприятию, искушаемому проблематикой возвышенного, эта гиперрефлексивность строится на принципиальной несогласованности понятий и представлений¹. Искушение возвышенным в области эстетического возвещает возможность индивидуации, в области политики оно оборачивается социальным атомизмом. Однако это еще не все: атомизация оборачивается деконструкцией понятийного мышления, которое признается тщетным на любом этапе своего применения. Подобный эффект заставляет задуматься о возможности и содержании политической компетенции². Своеобразие политики в эпистемическом аспекте состоит в том, что компетенция в ней связана с организацией пространства принципов и методик, повышение эффективности которых сопутствует игре на понижение ставок знания о политике. В пространстве политического действия работает принцип: «Чем больше думаешь, тем меньше понимаешь», что делает данное пространство привилегированным местом для практики без глубокомысленности и лавирования как формы практического сознания. Современный кризис понятийной рефлексии берет начало в политической процедуре придания смысла хро-

¹ См. об этом замечательную статью Ж.-Ф. Лиотара «Ответ на вопрос: Что такое постмодерн?» [М., 1994].

² Интересно сравнить это с популярной концепцией абсентеизма, представленной у Ж. Рансьера [Рансьер Ж. На краю политического. 2006].

нически воспроизводимому смыслодефициту. Сегодня этот кризис сказывается не только на состоянии умов, но и на состоянии нравов, что является отличительной особенностью эпохи пост-Просвещения¹.

- **управление социальным временем** – властвует тот, кто определяет, что считать прошлым, что настоящим, а что будущим, противопоставляет друг другу причины и следствия, формирует исторические хронологии. Это предполагает примат анахронической культуры (например, культуры кампа) над культурой исторической памяти.

Систематическое и целенаправленное забвение позволяет оставлять в истории лишь то, что можно отнести к категории «хорошо забытое старое», вернув впоследствии в качестве нового. При этом элементы исторических последовательностей если не перемешиваются в совсем уж произвольном порядке, то уравниваются друг с другом в своем анахроническом статусе. Все они в одинаковой степени случайны, и все они в одинаковых отношениях с неопределенностью (конингентностью). Это также открывает возможность для создания мифологических систем, каждая из которых связана уже не с принципом неопределенно далекого прошлого, как в классическом мифе, а с принципом неопределенно далекого будущего или с принципом фантастически рискованного настоящего;

- **управление природными процессами посредством техники** – кульминацией предыдущей фазы развития техники были промышленная революция (XVIII–XIX века) и научно-техническая революция (XX век). Обе они проходили под знаком конфликта с природой, ее «завоевания» и колонизации. При этом предполагалось, что функция техники связана с восполнением того, что в природе не хватает или и вовсе не существует. Современные технические революции связаны уже не с созданием искусственной среды или «второй природы», а с модификацией и развитием в самой ее первозданности.

Символом этой новой фазы технического развития выступает не робот, призванный заменить собой человека, а микро-

¹ Хронический смыслодефицит служит безошибочным указанием на то, что Просвещение все-таки завершилось. Как известно, просветительская философия в лице И. Канта завещала нашей эпохе структурное единство познавательной способности и сознания долга. Сегодня это единство мыслится исключительно под знаком того, что ни познавательная способность, ни сознание долга не вмещают в себя более ничего, что придавало бы окончательный смысл их существованию, то есть тот смысл, который сулил бы нам какую-либо трансцендентальную перспективу. Трансцендентальность смысла меряется строго в соответствии с его капитализируемостью, капитал играет при этом роль симулякра любого наперед заданного трансцендентального объекта.

чип, вживляемый в человека и расширяющий его возможности. Человек при этом не преодолевает природу и не «берет» ее милости насильно, он вторгается в нее таким образом, чтобы на все более микроскопических уровнях засвидетельствовать свое единство с ней и с процессами, которые в ней происходят.

Таким образом возникает эффект неoarхаики, когда человек вновь обнаруживает свое единство с природой. Правда, происходит это теперь уже не в форме мифа, а в форме технологического взаимодействия, происходящего под знаком биотехнологий (которые сближаются с семиотическими технологиями). В оппозиции к этому процессу находятся, с одной стороны, классические «естествоиспытатели» по образцу XVIII века, с другой – «экологи» в духе позднего XX века;

- **управление техническим прогрессом** – разнообразные технические приспособления приводят к невиданной унификации жизни и абсолютной безальтернативности прогресса. До и часто вопреки всякому публичному признанию общих ценностей техника создает такую систему условий существования, в которой пребывающие ведут себя так, как будто вопрос об этих ценностях не только окончательно сформулирован, но и уже решен.

Эта неимоверно возросшая роль техники меняет отношение к любым идеологиям и идеям, которые окончательно трансформируются в социальные технологии. Роль собственно идейной начинки в них не более значительна, чем роль инструкции применения, прилагаемой к бытовому изделию. Понятия и категории окончательно утрачивают характер оснований, связанных с наследием классической метафизики. На смену ей приходит метафизика девайсов (от англ. аппарат, машинка, прибор) и гаджетов (от англ. устройство, приспособление, но также и безделица), в число которых входят и различные идейные новации. Последние приобретают характер не столько «открытий» (или, например, «объяснений»), сколько семиотических фетишей.

Любой цивилизации, рассчитывающей на сохранение собственной самобытности, важно в этой ситуации предлагать на каждое серьезное техническое изобретение свою альтернативу, видеть принципиальную альтернативность технического развития. Подобный подход автоматически означает возможность не только альтернативного прогресса, но и альтернативной этики, связанной с тем, чтобы жить и действовать в обозначении собственных отличий;

- **управление идентичностями** – несколько не сводится к практике управления или манипулирования сознанием, выступа-

ющей остаточным явлением старой позитивистской технократии. Новая технократия предполагает превращение в управляемый актив всего человека в целом, независимо от того, к чему сводится его «существо» и что считается в нем определяющим (сознание или бессознательное, душа или тело, разум или безумие, биологическое или социальное и т. д.)

Подобная комплексность сама по себе представляет большую проблему, ибо идентичность предстает не только как результат всеобъемлющей капитализации человеческого в человеке, но и как достояние, обладание которым сопряжено с наибольшими рисками.

Вместе с тем практика аккумуляции отличий является наиболее общей стратегией обращения не только с личной, но и с коллективной идентичностью. В частности, именно эта стратегия берется за основу в осуществлении практик цивилизационного строительства;

- **управление свободой** – тесно связано с управлением идентичностями, поскольку последнее предполагает невиданное сращение экономической и символической власти (причем выступает одновременно его предпосылкой и результатом). Итогом подобного симбиоза становится представление о властном ресурсе, который не только ограничивает, но и дает возможности. При этом каждый индивид обеспечивается неповторимой формулой свободы. Мыслящееся как синоним приватизации возможностей, свободное существование также превращается в технико-экономическую проблему. Суть ее в том, что необходимо обеспечить процесс плавного ухода человеческого существа от квазифизиократического обладания любыми сущностями в пользу «чистого» и не обремененного никакой субстанциальностью обладания «как такового»;

- **управление информационными ресурсами** – задача управления свободой плавно перетекает в задачу управления информацией. Именно информация выступает гарантией и воплощением описанной выше идеальной собственности.

Информирование вовлекает человека в систему, в которой он обречен отнюдь не только на «методологическое» растворение в духе Леви-Строса и в которой находится место только для отношений, соотносящихся с другими отношениями. Растворенный субъект из носителя априорных структур познания превращается в конгломерат мыслительных клише, антропоморфное воплощение здравого смысла. Систематическая диверсификация информации связана с тем, что последняя не просто предоставляет сведения, но одновременно и порождает новые формы неопределенности, обнаруживая в них собственный предел и иное воплощение.

Послесловие

ТУПИК ЭКСПЕРТОКРАТИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФИИ

Вопросы, которые Андрей Ашкеров ставит в работе «Экспертократия. Управление знаниями», не просто интересны и актуальны. Я не побоюсь назвать их самыми важными из тех, что стоят сегодня перед нашей страной и всем мировым сообществом. Почему?

Сегодня много говорят об инновациях. Не только у нас в стране. Создается впечатление, что в самом деле мы живем в бесконечно меняющемся мире, не успевая привыкнуть к новым поп-звездам, техническим новинкам, испытывая стресс от динамики событий. Впрочем, книга, которая прогнозировала даже новую болезнь¹, связанную с ускорением прогресса, за 30 лет так и не стала сбывшимся кошмаром. Написавший ее философ ошибся, что не помешало ему получить Нобелевскую премию, которая не подлежит возврату.

Сознание людей может заблуждаться насчет прогресса, но отсутствие серьезных мутаций человека говорит о том, что «организм не обманешь». Да, есть много чудачков, принимающих «новый улучшенный шампунь» за прогресс, новую версию Windows за инновации, а «оранжевую революцию» за действительно всемирно-историческое событие, но на самом деле мы должны констатировать, что все эти улучшения и «новости» есть лишь имитация новаторства. И ровно так же обстоит дело во всех сферах жизни.

В политике мы уже 250 лет носимся с «демократией» и не только не можем придумать новый дискурс, но даже не созна-

¹ «Футурошок», книга О. Тоффлера, вышедшая 30 лет назад, прогнозировавшая новую болезнь, с которой столкнутся люди в результате стремительного наступления будущего, постоянного стресса и смены образа жизни.

ем такую задачу, повторяя на всех уровнях заклинания о свободах, правах, о борьбе с авторитаризмом...

Настоящей идеологией всех государств является старая добрая геополитика с ее принципами «разделяй и властвуй», «у нас нет вечных друзей и врагов, а есть вечные интересы» и проч. Все разговоры об общих интересах – только прикрытие, способ запутать геополитических соперников, надуть их по сильнее. Разговоры о демократии, в частности, выполняют эту функцию.

В мировой экономике продолжается борьба свободного рынка и изоляционизма (протекционизма) вот уже 200 лет. Та же эксплуатация одних стран другими. Колониализм, конечно, сменился неоколониализмом, но и самому неоколониализму уже 50 лет. Кроме того, сам экономический дискурс также не обновлялся 100 лет.

Со времен Локка и Монтескье никто не выдумывает ничего в системе управления государством. Все те же пресловутые «разделение властей», «сдержки и противовесы». Везде парламенты и президенты, хотя столько слов сказано о плюрализме!

Армия, сфера, для которой инновации равносильны выживанию, принципиально не менялась уже более 50 лет. Все эти истребители 4-го и 5-го поколений напоминают как раз «новый улучшенный шампунь». Реально никаких прорывов со времен атомной бомбы нет, собственно, ее наличие и отсутствие до сих пор и определяет расклад сил в мире.

Пенитенциарная система не менялась принципиально лет 200, с тех пор как отменили телесные наказания и ввели штрафы и заключения.

Техника и производство стагнируют. Огромное количество патентов скуплены на корню транснациональными корпорациями и не запускаются в производство, потому что еще не отбились инвестиции, вложенные в старые технические проекты. Капитализм тормозит прогресс ровно так же, как это делал социализм. Собственно, крупная экономика давно уже плановая, просто индикативные ориентиры устанавливают другие институты, а не Госплан.

В начале XX века, когда люди пересели с извозчиков на автомобиль, они думали, что через 50 лет будут летать по воздуху, еще через 50 лет фантасты писали о мгновенной транспортировке (разобрали тело на молекулы, а через 10 000 км – собрали), но мы уже сто лет ездим на автомобилях, хотя давно изобретены закрывающие этот вид транспорта альтернативы. Да и если быть честным, не так уж много по-настоящему фундаментальных открытий сделано. Число ученых в мире сокращается, открытия мельчают. Пресловутый Интернет, кстати, по различным иссле-

дованиям, не так уж принципиально поменял и экономику, и жизнь в целом. Его новаторский вклад переоценен.

Пятьдесят лет назад Гагарин полетел в космос, а мы думали, что уже в XXI веке будем летать на звездолетах, как минимум колонизируем Марс. Но американцы даже на Луну за 40 лет еще один раз не слетали (что, кстати, ставит под вопрос и достоверность первой экспедиции).

Где новые источники энергии? Где безотходное производство? Где лазерные бластеры и «пыльные тропинки далеких планет»? Где роботы, которые полностью заменили человека на производстве и дали ему свободное время для творчества? Про «антигравитаторы» и «машины времени» даже не будем напоминать... А ведь наука не могла поставить себе целей, которых не могла бы достигнуть...

Медицина вызывает сильные подозрения в шарлатанстве, ей несколько тысяч лет, а она не научилась даже насморк лечить. Как известно и леченый, и нелеченый насморк проходит ровно за неделю. Разница в продолжительности жизни в 10–15 лет в сравнении с двумя веками ранее не впечатляет. Да, уменьшилась детская смертность и смертность от эпидемий старых, но появляются вирусы и болезни новые, и к ним медики не готовы.

Современное искусство, ранее бывшее источником социальных и гуманитарных инноваций, давно и напрочь потеряло этот статус. Люди искусства – либо маргиналы, либо удачливые медиакарьеристы, но никак не инноваторы.

В сфере религии, даже признавая некое возрождение в исламе и православии, трудно отделаться от ощущения, что святые, пророки, творцы новых религий, а не мелких сект, стали подзабывать наш мир и не появлялись уже слишком давно.

Обилие философов-постмодернистов также говорит о том, что мы переживаем скорее эпоху количества, а не нового качества. Философов было много в эпоху Просвещения, много, но ни одного настоящего. Как грибы после дождя они плодились в эпоху Возрождения. И мы сейчас с трудом вспоминаем их имена. То же количество, не переходящее в качество, было и в эпоху эллинизма.

Нет, не Тоффлер со своим «Футурошоком», а Фукуяма с «Концом истории» оказывается прав, хотя последнего засмеяли настолько, что он в ужасе сам отказался от своей концепции. И напрасно.

Как уже было сказано, препятствием для прогресса являются, как и во всякой плановой системе, ранее сделанные инвестиции. Мертвый труд «тяготеет как кошмар над умами живых». Россия, единственная страна, пережившая форсированную деиндустриализацию, имеет шанс начать с чистого листа и

строить небывалое, строить будущее, а не подражать другим. Но строит ли она его, и с чего ей надо начать?

Сфера, где куется будущее, – есть сфера образования, сфера, где учится будущий народ страны. Каким он будет, такой будет и страна.

Сфера образования и науки не была упомянута нами выше, потому что о ней хочется поговорить подробнее.

Будучи студентом в конце 80-х – начале 90-х, я присутствовал при зарождении тенденции, которая сегодня в образовании господствует. Речь идет о симуляции. Мой товарищ выбрал на вступительном сочинении свободную тему. Он сам придумал название, сюжет и главных героев произведения «современного советского писателя», критически разобрал конфликт этого произведения и его «мораль». И получил пятерку. Другой мой товарищ написал диплом, в котором постоянно цитировал несуществующие, но якобы переведенные им работы современных западных социологов. Он окончил с «красным дипломом». Большое количество студентов не-отличников не были столь изобретательными, они просто заказывали старшекурсникам и аспирантам написание рефератов, курсовых, дипломов, а затем и диссертаций. Я стоял у истоков этого бизнеса и жил им почти 10 лет.

Появление Интернета придало всему этому процессу еще более гротескные формы. В Сети можно было скачивать все. Целые порталы рефератов, курсовых и дипломов. На развалах – целые коллекции дисков со школьными сочинениями, ответами на вопросы по всем видам экзаменов, в подземных переходах, в конце концов, – дипломы любого вуза страны. Сегодня существуют целые программы типа «антиплагиат», позволяющие найти источник сданных преподавателю рефератов и курсовых. Однако против хенд-мейд- или, точнее, брейн-мейд-работ эти программы бессильны. Точно так же они не способны выявить и фальсифицированные ссылки и источники, так как хороший фальсификатор вначале позаботится о том, чтобы запустить в Интернет псевдоссылки и псевдоупоминания придуманных им ранее работ и авторов.

Преподавательское сословие тоже не отстает от моды. И дело не только в вульгарном взяточничестве на экзаменах. Сама пресловутая научная жизнь сводится к повторению десятилетиями читаемых лекций, к постоянным публикациям тезисов виртуальных конференций (на которых никто не выступает и уж точно не ведет научных дискуссий), к формальным защитам, на которых все предварительно оговорено с оппонентами и рецензентами и главной фазой которых является банкет. Профессора путешествуют по межрегиональным форумам и

круглым столам, собственно, тусуются в надежде получить новые связи и информацию о грантах. Выполнение этих грантов так же симулируется, и это, как ни странно, мало заботит грантодателей, которые просто осваивают фонды и часто получают откаты. Чрезвычайно распространено виртуальное соавторство, взаимное договорное цитирование и даже (высший пилотаж) раскрутка псевдопроблем, под решение которых выбиваются фонды из правительства и иных внебюджетных источников, под которые организуются псевдонаучные коллективы¹. Получение премий, научных званий и степеней оказывается тем символическим капиталом, который превращает ученого в медийный персонаж, псевдоэксперта, который уже, пользуясь своим влиянием, способен пролоббировать любые бюджеты по любой проблеме для дружественного научного коллектива.

С развитием и становлением бизнеса в эту сферу приходит и коммерческий интерес. Ученые подписывают псевдоэкспертные заключения о полезности или вреде тех или иных материалов, продуктов питания, промышленных проектов. Организуются псевдоассоциации и институты (вроде «Всероссийской ассоциации стоматологов»), которые активно участвуют в прямой рекламе и влияют на продажи. Социологи пишут липовые отчеты для политиков и публикуют заказные рейтинги и формирующие опросы (опросы, где важна информация, содержащаяся в вопросе, а не сам ответ). Многим «открытиям» придается сенсационная форма, чтобы книги имели коммерческий успех (как вам название: «Вирус СПИДа – выдумка биологов?»), а сделанная на основе «открытия» продукция хорошо продавалась (возьмите распространенные сейчас диеты на основе группы крови). Согласно одному из исследований, большая часть публикаций в одном из ведущих западных научных журналов была написана учеными, которые непосредственно получали деньги от фондов и организаций, заинтересованных в определенных результатах исследований. Таким образом, все сказанное выше это не только наша, но и западная тенденция. Повсеместное распространение тестовой системы облегчает работу преподавателей и облегчает симуляцию студентам. Когда критерии оценки заранее известны – не надо много труда, чтобы подогнать все что угодно под критерии и требования.

Единственный действенный способ борьбы с симуляцией выглядит аморально и нелегитимно – это крайний субъекти-

¹ Известный интеллектуал – физик Фримен Дайсон, например, говорит, что пресловутые нанотехнологии есть плод раскрутки псевдопроблемы группой высокопоставленных научных шарлатанов, выбивающих бюджеты из простakov в правительстве.

визм преподавателя. Помню, однажды один из профессоров перед экзаменами по истории философии заявил, что никаких билетов и заранее данных вопросов не будет. Он будет спрашивать все, что ему захочется, и оценивать, как ему вздумается. Невозможно было даже написать шпаргалки, пришлось учить действительно ВСЕ.

Подгонка под заданную матрицу и критерии является главным навыком современного образования, а господство матрицы и критериев тем самым только укрепляется. Это же касается и такой специфической матрицы, как псевдосенсационное разрушение «основ», которое идет повсеместно и которое не ведет ни к каким разрушениям, так как само количество таких «опровержений и разрушений» и их фантастический вид только обесценивает и дискредитирует все «разрушительные и революционные» результаты, заставляя публику искать спасение в уютной традиции (например, «творчество» лжеисториков Носовского и Фоменко только укрепляет традиционную историографию и дискредитирует все возможные действительно новаторские попытки по-иному посмотреть на исторический процесс, источники, факты).

Однако нельзя интерпретировать все эти процессы как простое подпадание науки и образования под власть капитала и политики, поскольку такое влияние на образование существовало всегда, что не мешало образованию и науке демонстрировать различные исторические формы.

Классический идеализм предполагал, что идеальное присутствует в субъекте потенциально, поэтому обучение и строилось на провокациях, на вытягивании этого потенциального, на развертывании его из «в-себе» в «для-себя». Таково, например, искусство маевтики Сократа (маевтика – повивальное искусство). Сократ сравнивал себя с повивальной бабкой, помогающей внутреннему проявиться вовне. Он использовал для этого метод вызовов-вопросов-провокаций. Естественно, что педагог (т. е. тот, кто ведет ребенка) при устраивании этой системы вызовов-провокаций должен руководствоваться целью, заранее заданным образом. Достигший этого образа считался «образованным». Сократ не скрывает, а напротив, громкогласно заявляет (например, в «Алкиаде»), что целью образования является юный будущий гражданин и политический деятель полиса. Римляне, преклонявшиеся перед греческой ученостью, просто брали образованных греков за образец. Образец «образованного человека» включал в себя перечень неизменных атрибутов. Путем подражания и дрессировки человек просто должен был копировать эту модель. «Всякий образованный человек должен знать, уметь, увидеть, прочитать то-то и то-то» – вот формула

этой педагогики. Быть необразованным немодно, непрестижно, постыдно. Но чтобы включить эту мотивацию, предварительно должны быть уяснены символические различия между модным и немодным, высоким и низким, должна быть интериоризирована политическая властная иерархия.

Легко заметить, что эти две модели (греческая и римская) до сих пор соперничают в педагогике. Так или иначе, везде господствует требуемый «образ» образованного. Просто исторически он менялся. Христианская культура требовала соответствия человека «образу и подобию Бога» (характерен трактат Ф. Кемпийского «О подражании Христу»), когда арабы принесли в Европу греческую ученость, то сформировался новый образец ученого, которого ковали схоластические университеты с их дрессировкой и зубрежкой. В эпоху Возрождения были открыты другие античные источники, и «образец» образованного человека опять претерпел изменения. Теперь кроме Библии и Аристотеля всякий «культурный человек обязан был знать» античных поэтов. Власть каждый раз давала «социальный заказ» на нужный ей образ. Причем светская власть. Если религия настаивала на сохранении разницы между образованным клиром и простолюдными, то светские власти, напротив, предпринимали попытки обучить народ грамоте. Леви-Строс говорит об этой стратегии светских монархов: «Все должны уметь читать, чтобы никто не мог сказать, что он не знает закон». Политическое господство тут – главное. Просвещение – сопутствующая, вспомогательная стратегия. Лютер перевел Библию на немецкий язык, Гус – на чешский. Это дало взрыв протестантизма. Вряд ли без такой просветительской программы протестантизм получил бы господство. Эпоха Просвещения (недаром она так названа) была важнейшим историческим этапом в формировании современной системы тотального господства. Просвещение – как всегда – сопутствующая стратегия. На самом деле тогда формировалась концепция свободы как псевдовыборов, тогда родились тюрьмы, родились клиники, родилась система физической и интеллектуальной эксплуатации. Тогда родился «образ» современного человека. В гуманитарной области он должен быть либералом (та самая свобода), в технической области – прогрессистом, трудолюбом, технарем и т. п. Само различие «гуманитарного» и «технического» (и единство, конечно, тоже) укоренено в этой эпохе. Поначалу, на заре капитализма, все это имело еще грубые формы. А. Смит рассматривал образование, перекавалификацию и т. п. в терминах стоимости, как реинвестицию капитала: «Человек, обученный ценой больших затрат труда и времени, подобен дорогостоящей машине». Но это иллюзия. Как

пишет Бодрийяр: «Образование, обучение, школа – это не Osborne, косвенные формы капиталовложений. Они непосредственно представляют собой общественные отношения порабощения и контроля. Капитал в них не стремится к сложному труду, а несет абсолютные убытки, жертвуя огромной частью «прибавочной стоимости» ради воспроизводства своей гегемонии». В самом деле, образованные люди становятся основой истеблишмента. Тогда как нищие невежественные массы несут угрозу (в отличие от феодальной системы, где все наоборот). Что представляет собой современное образование? Все тот же причудливый набор рудиментов и атавизмов просвещенческих доктрин, о чем свидетельствует сам набор школьных и вузовских дисциплин. Свой отпечаток накладывает национальное государство (язык, история, политическая география и т. п.) и современные космополитические дисциплины, готовящие людей к способности встроиться в техническую и гуманитарную реальность. Власть задает «образы» и нужные «модели», парадигмы, «национальные концепции» и т. д. Существует огромное количество псевдовыборов, каждый из которых соблазняет, заманивает, провоцирует субъекта, а точнее заложенные в субъекте способности. Как можно видеть, со времен античности ничего не изменилось.

То, что сегодня уже никто не требует строгого соответствия определенному «образу» (мы живем в эпоху конца классического образования), а напротив, требуют культивировать индивидуальность, самому выбирать предметы обучения, профессии и т. д., нисколько не ущемляет описанную выше провокационную модель. Просто культура как таковая есть зыбкая взвесь этих образцов и провокаций, где каждый находит свою игрушку (свое призвание) согласно «заложенным природой (или Богом) способностям». Наличие огромного количества псевдовыборов и возможность самому строить себя, «свою индивидуальность» ничего ровным счетом не меняет. Этой глобальной, тотальной системе все равно, кто именно и какое место займет, главное, чтобы места были заняты. Главное, чтобы не осталось неприсоединенных (детей, дикарей, сумасшедших и невежд). Хотя и для них отведены свои резервации, свои места, и в будущем (стараниями правозащитников) их индивидуальность окончательно будет признана. От принуждения к чему-то определенному, к «образу» мы перешли к принуждению к «различию» (оригинальность требуется, она в моде), но это означает не освобождение, а как раз наоборот – установление полного господства. Если раньше любое нестандартное поведение было риском для системы и поэтому подавлялось, если раньше это поведение несло угрозу,

то сегодня система настолько окрепла, что уже не чувствует угрозы. Ей уже безразличен каждый различный член. Сегодня от одного ничего не зависит. Не зависит даже от некоторых. Нет ни одного человека, ни одной организации, способной управлять мировыми процессами, способной опрокинуть это бессубъектное господство. Пожалуй, это могли бы сделать некие «многие». Отсюда система еще чувствует угрозу и поэтому требует «различий», «оригинальности». «Разделяй и властвуй» – древнейшая формула, не только руководство для политика. Разделенность сама по себе порождает власть, даже бессубъектную. Властвует сама власть. Не кто-то обладает властью, а власть обладает кем-то.

Бэкон на заре Нового времени говорил: «Знание – сила». Означает ли это сегодня, что тот, кто читает множество книг и журналов, рыщет в Интернете и не пропускает ни одной программы по ТВ, является «сильным»? Лозунг Бэкона сегодня перефразирован: «Кто обладает информацией, тот обладает властью». Означает ли это, что тот, кто впитывает в себя всю транслируемую миром информацию, обладает властью? Нет. Сила и власть (в большей мере) состоят в том, чтобы знать, «что», «как», «где» и «когда» подавать. Равно как и свобода состоит не в свободе выбора между различными телеканалами и публикациями любого рода, а в возможности программировать эти каналы и публикации. Впрочем, и те, кто программирует и манипулирует, также несвободны. Они принадлежат системе. Одни не обходятся без других и создают гармоничное целое. Система замкнута сама на себя. Нет никакого прогресса, производства, образования. Есть только воспроизводство. Кручение-верчение в себе самом. Мир напоминает центрифугу, синхрофазотрон, колайдер, разгоняющий и через это разрешающий еще оставшиеся спайки и целостности, превращающий все в элементарные частицы, которые теперь находятся в хаотичном броуновском движении. Любая целостность, поначалу находившаяся в центре, за счет вращения прижимается к краю и рассыпается. Все находится у края, все становится маргинальным. Это давление о край выжимает и отправляет в осадок все «внутреннее», все остатки прошлой культуры. Таким образом, человек остается наедине с собой и противостоящей ему громадиной культуры и информации, этим чудовищным осадком прежних систем и ценностей. Потеряв вес, он вновь обретает способность лететь к центру, впитывать в себя эту культуру исходя из самости и случайных целей. Он манипулирует формами, как чем-то внешним себе, и описывает замысловатые траектории собственного изобретения. Эстетика этих траекторий и перево-

площений может, конечно, завораживать. Особенно умили- тельны попытки стоять на одном месте в бурном потоке или же, напротив, попытки создать такой поток через объедине- ние частиц, но выйти за границы этого «безумного, безумно- го, безумного мира» можно только через смерть. Настоящая, высеченная из камня истина сегодняшнего мира знаний гла- сит: «Можно знать много о части, можно знать часть о мно- гом, но нельзя знать много о многом». Современный мир зна- ния, таким образом, дает нам две фигуры: вопрошающий журналист и отвечающий эксперт. Журналист – это поверхно- стный всезнайка, «знающий часть о многом», воплощающий публику, эксперт – тот, за кем признается максимальный ав- торитет в минимальной области, «знающий много о части». Современное общество экспертократично, потому что оно максимально дифференцировано.

«Система от предписания переходит к расписанию» – гово- рил Бодрийяр. Государство больше не хочет заботиться об об- разовании, потому что определенный тип не является услови- ем господства. Условие господства – многообразие типов и их различия. Условие – это *differance*, причем развитый *differ- ance*. Государство легитимирует себя как то, что способно обуздать хаос, следовательно, хаос должен исподволь воспро- изводиться системой как условие ее легитимации. Должен ра- ботать своеобразный «Хаоспром», который тут же обуздывает хаос, новой постоянно меняющейся формой духа, идеологии (кстати, и слово «газ» есть синтез слов «дух» – гейст – и «хаос»). Производство *differance* требует многообразия вузов, предме- тов, систем обучения, контекстов, внешних для образования влияний. Отсюда – открытость системы образования всем вет- рам: капиталу, политике, искусству, паранауке (вплоть до ок- культизма), религии и сектам, болонскому процессу. Отсюда открытость всем методикам: *evrything goes!* Отсюда постоян- ные реформы образования и изменения критериев. Реформы порождают различия между учениками и учителями, между поколениями учеников.

Поскольку различия могут производиться за счет самой структурной деятельности, за счет реформ и управления, мани- пуляции требованиями к образованию, а не за счет усилий са- мих учителей в процессе обучения, то государство отказывает- ся и от обеспечения бесплатного образования, от стипендий (на которые можно жить), от высоких зарплат преподавателям и ученым. Образование теперь нужно не нам, а вам, поэтому не мы, а вы за него и платите, говорит власть, мы обеспечиваем лишь различия и закрепляем их в символических формах (до- кументы, сертификаты и проч.), мы обеспечиваем право на вы-

бор, право на difference¹. Настоящее образование сегодня, как в греческом полисе, где не было «государственного университета», получается на разнообразных семинарах, тренингах, курсах каких-нибудь гуру, в практической работе в компании или на производстве, в чтении книг частным образом, тогда как «обязательное образование» симулируется. Симуляция и дифференциация поддерживают друг друга.

Как еще соотносится процесс симуляции, описанный выше, с этим процессом ставки системы на различия? Очень просто: изображение (то есть собственно симуляция) есть маскировка отмены того, что изображается. Подобно тому, как иконка, изображающая папку с документами на рабочем столе компьютера, изображает то, что она отменяет (бумажную папку с бумажными документами), современное образование есть изображение образованности, которая давно уже отменена системой и не ценится ею.

Отсюда и стагнация, невозможность ожидать никаких технических, научных, социальных и гуманитарных инноваций, разговор о которых только изображает то, что он отменяет.

Несмотря на огромное количество узких экспертов в самых различных областях, ни все вместе, ни в отдельности они не производят инновации ни вообще, ни в своей сфере ответственности. Они выступают «говорящими головами», их ареопаг есть высшая власть в сфере знания, но система не по силам (вопреки афоризму «знание – сила») ни одному из них, ни всем вместе. Перечитайте начало этой статьи: прогресс остановился, а все более серьезных экспертов во все более узких областях все больше и больше.

Что же тогда может быть источником настоящих инноваций и как победить симуляцию?

Выше приводился пример с профессором, который добился того, что студенты перестали симулировать и вынуждены были учить все. Этот пример открывает нам спасительность некой чрезвычайной и кризисной ситуации, которая может потребовать от нас неведомой (новой) компетенции. При этом знать надо ВСЕ, и даже это не является никакой гарантией, но во всяком случае только от такого знающего все могут проистекать и инновации. Знать все и знать, что ничего не знаешь. Быть экспертом и не быть им. Не случайно поэтому все более увеличивающееся количество субъектов с несколькими образования-

¹ Дело не в субъективных особенностях и желаниях некой на данный момент исторической власти. Сама система функционирует таким образом, что каждый вновь пришедший «начальник», хочет он того или не хочет, вынужден «начинать» реформу.

ми и огромным количеством разных специальностей и компетентностей, полученных на различных курсах, а также все больше становится всезнаек, спектр которых простирается от поверхностных журналистов до энциклопедистов из «Клуба знатоков» и ему подобных.

Но возможно ли в наше время, время избытка всевозможного информационного мусора, господства разнообразия, знать ВСЕ?

Да, если речь идет о старой доброй философии, которая всегда (вспомним гераклитово «Многознание уму не научает»), во все времена была и способом жизни в информационном мусоре, и способом борьбы с ним. Старые метафизические системы, ведомые вопросом: «Почему есть сущее, а не наоборот, Ничто?», охватывали в этом вопросе ВСЕ сущее и искали принцип его существования. Меняя этот принцип, они порождали и метафизические инновации, которые становились основой для всех прочих инноваций. При этом именно философия заявляла, что «она знает, что ничего не знает».

Философия могла бы дать новую вариацию старого вопроса, пойти к условиям возможности этого вопроса, которая ставила бы предвопросы (типа «что есть Бытие?»). Импульсы, полученные от такой философии, могли бы если и не стать фундаментом действительно новой цивилизации, то по крайней мере стать вирусами, которые бы заставили мутировать нынешнюю культуру.

Инвестиции в философию – единственные инвестиции, которые могут привести к инновациям. Философия – единственное место в системе, откуда можно ждать истинных инноваций.

Философ соединяет в себе журналиста (знание обо всем, вопрошание, открытость) и эксперта (знание глубокое, принципиальное, умение различать важное и неважное), именно поэтому философ может вывести из тупиков медиакратии и экспертократии.

Работа *философа* Андрея Ашкерова «Экспертотократия. Управление знаниями. Производство и обращение информации в эпоху ультракапитализма» и есть попытка (а философия есть всегда только рискованная попытка, а не демонстрация экспертной законченной компетенции) целостного и изначально осмысленного современного информационного общества, места системы образования в нем, перспектив экспертократии.

Ашкеров фиксирует важный переход общества от модели образования, которая навязывает определенный образ, к модели, которая уже не является в строгом смысле слова «образованием». Это скорее «безобразование», «многообразование», «раз-образование», «межобразование». Он пишет: «в отличие

от древней жреческой власти власть экспертократии строится не на утаивании информации, а на спекуляции ее открытостью. В отличие от древнего сакрального знания ценность (потребительская стоимость) современной информации связана не с вечным пребыванием, а с ничем ни сдерживаемым становлением... Власть экспертократии основана на повышении пластичности мира, получаемая ею прибавочная стоимость связана с аккумулярованием возможностей от спроса на изменения и риски. Полученные и присвоенные таким образом возможности именуется на экспертократическом языке «инновациями». Ашкеров прослеживает становление новой системы, принимая за основу парадигму «образования», функционирующего как самосбывающийся прогноз, осуществляющий, тем самым, управление будущим. В самом деле, выставляемый образованием «образ» отсекает ненужные образы будущего и ориентирует человека в направлении «правильного образа». Институтом, который соответствует этой парадигме, является университет гумбольдтовского типа.

Поскольку мы являемся свидетелями кризиса гумбольдтовского университета, может возникнуть иллюзия, что коль скоро с господством «определенного образа» покончено, то будущее избавляется от своих оков и имеет некую вариативность и открытость.

Однако вместе с отменой определенного будущего было отменено и будущее вообще (инновации стали порождением различий и перетасовкой прошлого, симуляцией), так как неопределенного, вариативного будущего, по всей видимости, не бывает.

Это имеет глубинную связь с проблематикой инстантрации, развиваемой Ашкеровым в других работах. Коротко проблему можно разъяснить на следующем примере. Известно, что из теории относительности Эйнштейна следует интересный парадокс. Если тело движется быстрее скорости света, то оно оказывается в пункте назначения ранее, чем оно начало свое движение из стартовой точки. Поскольку это считается невозможным, то, следовательно, быстрее скорости света двигаться и нельзя. Однако философы знают, что быстрее скорости света движется мысль (например, в вопросе: «Почему есть сущее, а не наоборот, Ничто?» я мгновенно охватываю все сущее: и самое великое, и самое малое, от квазаров до «бизонов Хиггинса», охватываю и прошлое, и будущее, собственно, выхожу за границы любого сущего). Раз так, то человек, как мыслящее существо, все время находится уже в точке назначения того пути, который еще не начался. Наше прошлое и настоящее есть последствия сбывания будущего, которое еще не началось. Собственно поэтому буду-

щее и кажется нам неопределенным, его действительно еще нет. Что, однако, не значит, что мы можем сами формировать его, как нам заблагорассудится, навязывать ему образ или же «освободить» его путем отмены навязывания образов. Будущее есть в прошлом и настоящем, но не в качестве предмета для подражания или продолжения начатой тенденции. Не будущее, а именно настоящее и прошлое двусмысленны и вариативны (причем вариативны и двусмысленны именно они сами, а не их оценки. Никакие оценки не могли бы быть различными, если бы они не были фундированы в неоднозначности самого предмета)¹. История движется по пути все большей однозначности, и «наличие» прошлого и настоящего вообще есть залог сбывающегося будущего: то, что кончается, должно когда-нибудь начаться. Это начало движет людьми, именно поэтому они вообще способны хоть что-то начинать. Воля к началу есть воля к такому событию и решению, которое будет выглядеть как венец и цель предшествующей истории, как ее разгадка, придающие всему пути его смысл и однозначность. Решение, которое носит черты такого события, провоцирует человека его принять, часто и, как правило, вопреки собственным мелким целям, прогнозам и желаниям. Отсюда видно, что способность увидеть будущее есть способность одновременно видеть прошлое и настоящее внутри их логики, или скорее судьбы. Оторванность от настоящего прошлого отрывает и от настоящего будущего. Поэтому инстававтор озабочен настоящим прошлым, а не программированием будущего, как это делает гумбольдтовский университет. Инстававтору озабочен настоящим прошлым, а не программированием будущего, как это делает гумбольдтовский университет. Инстававтору озабочен настоящим прошлым, а не программированием будущего, как это делает гумбольдтовский университет. Инстававтору озабочен настоящим прошлым, а не программированием будущего, как это делает гумбольдтовский университет.

Именно потому что Ашкеров видит прошлое и настоящее, он видит и будущее. Книга заканчивается главой «Новый футуризм», которую я не буду пересказывать, но про которую можно сказать, что она разрешает многие апории современной социальной мысли, видит просвет там, где, казалось бы, существ-

¹ Например, жесткие темпы коллективизации и индустриализации в СССР были изначально рискованными и двусмысленными. Победа 1945 года сделала их по видимости однозначными, без них как бы не было и победы (хотя на самом деле без победы как поставленной цели, совпавшей со сбывающимся будущим, судьбой истории, не было бы и жертв во имя нее). Но попытки отменить результаты той победы после поражения в холодной войне во времена Горбачева вернули политике 30-х годов ее неоднозначность.

ует мертвый клинч противоречия (например, противоречия между экологизмом и технократизмом и др.). Собственно противоречие нетерпимо, не потому что его нельзя помыслить (это неоднократно демонстрировалось), а потому что противоречащие элементы дополняют друг друга, не допуская никакого просвета, свежего воздуха и движения.

Вместе с тем некоторые отождествления Ашкерова оставляют пространство для спора. Например, у меня вызывает протест утверждение, что «православие находится с бюрократией в тех же отношениях, что протестантизм – с рынком: они идеально подходят друг другу». Бюрократия или ограничение каждого элемента системы «сдержками и противовесами» как несущего потенциальную угрозу системе (повышение сложности, сложности системы за счет новых связей элемента, ограничения его свободы) возникает в обществе, где образование игнорируется или переориентируется на производство различий. Если представлять, что на месте каждого чиновника может оказаться дьявол (то есть тот, кто своей нечестностью или некомпетентностью может нанести вред системе), то, естественно, надо всеми способами ограничивать его свободы. Регламентировать, связывать сдержками и противовесами, ставить под контроль народа, что в результате повышает сложность и дает возможности оппортунистического поведения, симуляции деятельности, перекладывания ответственности и проч. При этом предположение «потенциального вреда» действует как самосбывающийся прогноз: чем больше мы предполагаем в чиновнике потенциального дьявола, тем больше мы громоздим сдержки и противовесы и тем больше реальных дьяволов получаем. Обратная стратегия состоит в том, чтобы предполагать (или сформировать) в каждом ангела и, наоборот, давать ему максимум ответственности и свободы (как говорили греки: «честным людям не нужно много законов»). Православие родилось и действует в рамках стратегии: «воспитай святого и полностью доверься ему». Для него существенны воспитание и образование. Бюрократическое же государство возникает в рамках стратегии: «воспитай различных и ограничивай их, не давай им ничего сделать». Православие в принципе не понимает, зачем плевать на воспитание, мучить систему образования реформами, плодить дьяволов, а потом не доверять им, придумывать, как с ними бороться («борьба с коррупцией!») и как их ограничивать («власть под контроль народа!»), если лучше с самого начала все внимание отдать образованию, чтобы воспитывать святых, а потом, наоборот, облачить их полным доверием и властью, убрав лишнюю регламентацию и сделав невозможным оппортунистиче-

ское поведение. Естественно, что настоящая бюрократия с недоверием относится к православному типу святости, который рассматривается не как абсолютный, а как один из возможных, рассматривается как одно из многих различий (опасное еще и тем, что выдает себя за единственное), а то и вообще как нечто симулированное. Такой подход говорит больше о том, кто смотрит, нежели о наблюдаемом, говорит больше о постмодернистской бюрократии, чем о православии. Имеющийся же в России ренессанс православия скорее способствует де-бюрократизации. Там, где православие проникает в государство, оно отменяет рациональное поведение бюрократа (которое в данных условиях может привести только к оппортунизму) и заставляет принимать решение по совести, вне рамок инструкций и полномочий. Благодаря таким (и иным) внесистемным стимулам система что-то вообще делает, а не работает вхолостую, не является чистым симулякром.

Иным внесистемным стимулом может быть действие «по справедливости», новую теорию которой сам Ашкерев развивал в одноименной книге.

Бюрократия идеально соотносится с экспертократией. Эксперты возникают там, где уже велика комплексность системы, они есть те, кто спекулирует на комплексности, как бы упрощая ее, чтобы затем снова породить. В обществе, живущем по совести или по справедливости, вообще там, где есть простая ясность самого глубокого и великого начала, никакие эксперты не нужны. Собственно, эксперты спекулируют на тяге к простоте в условиях сложности.

Во всех великих исторических обществах (например, в Древнем Китае, Древнем Израиле, Древней Греции) правила не эксперты, а поэты, пророки, святые и философы, и была система, которая их систематически порождала. Современная система производит различия (информационный мусор) и специалистов по его упаковке и утилизации (экспертов). В противном случае общество задохнулось бы от отходов собственной жизнедеятельности. Когда Платон говорил, что государством должны управлять философы, то это было не просто лоббированием интересов определенной профессии или личными амбициями. Реальное управление есть управление в отсутствие регламентации и в кризисной ситуации. Греческие философы в полисах воспитывали философов и вручали им власть, а не громоздили законы и инструкции, они знали: в каждый отдельный момент управления каждая отдельная голова примет именно в данный момент нужное и правильное решение, лучшее, чем некий общий закон или инструкция. Если они не смогут принять этого лучшего решения, то значит, вообще не сможет никто.

А. Ашкеров | **ЭКСПЕРТОКРАТИЯ. Управление знаниями**

Заменить человека в управлении функцией, регламентизировать и кибернетизировать деятельность управленца – это утопический проект по превращению человека в машину и по постановке машины над человеком. Чем более этот проект осуществлялся в истории, тем дальше от власти оказывались философы. Сегодня, в экспертократической бюрократической системе, этот проект не просто умер, он мумифицировался (мумия есть симулякр), а затем еще и зомбировался (зомби – искусственно оживленные мертвые). Система изображает то, что отменяет. Сегодня, в эпоху крушения экспертокартии, есть шанс на инставрацию философского управления.

Текст Андрея Ашкерова – не текст «эксперта по проблеме управления знаниями», который надо прочитать. Вам встретился текст философа, поэтому будьте готовы мыслить!

Олег Матвейчев,
кандидат философских наук

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7
Глава 1	
ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕАЛЬНОСТЬ	18
Глава 2	
ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ	26
Глава 3	
ЭКСПЕРТОКРАТИЯ	34
Глава 4	
ПРОИЗВОДСТВО ИСТИНЫ	51
Глава 5	
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ	56
Глава 6	
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА	61
Глава 7	
«ОБЩЕСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ЗНАНИЯХ»	69
Глава 8	
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ	80
Глава 9	
ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УЛЬТРАКАПИТАЛИЗМА ...	86
Глава 10	
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ	94
Вместо заключения	
НОВЫЙ ФУТУРИЗМ	107
Послесловие	
ТУПИК ЭКСПЕРТОКРАТИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИЛОСОФИИ	112



Александр Пятигорский

ЧТО ТАКОЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ И СООБРАЖЕНИЯ

152x228 мм. – 152 с. – (Политучеба)
ISBN 978-5-9739-0125-7

К чему приводит общее снижение уровня политической рефлексии? Например, к появлению новых бессмысленных слов: «урегулирование политического кризиса» (ведь кризис никак нельзя урегулировать), «страны третьего мира», «противостояние Востока и Запада». И эти слова мистифицируют политическое мышление, засоряют поры нашего восприятия реальности. Именно поэтому, в конечном счете, власть может нам лгать. Работу с мифами политического мышления автор строит на изобилии казусов и сюжетов. В книге вы найдете меткие замечания о работе экспертов, о политической воле, о множестве исторических персонажей.

политического мышления автор строит на изобилии казусов и сюжетов. В книге вы найдете меткие замечания о работе экспертов, о политической воле, о множестве исторических персонажей.



ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПАРТИИ

Учебное пособие / под ред.
Алексея Чадаева, Валентины Быковой
Предисловие: Вячеслав Глазычев
152x228 мм. – 144 с. – (Политучеба)
ISBN 978-5-9739-0129-5

Партийное строительство в России – дело последних 15 лет. Начавшись как самоорганизация малочисленных энтузиастов, сейчас оно объединяет сотни тысяч людей.

Перечень сфер, в которых успешный партийный лидер должен обладать незаурядной компетентностью, огромен. Далеко не полный список включает владение тонкостями российского законодательства, знание законов общественной психологии и группового взаимодействия, соблюдение правил ведения предвыборной борьбы, сохранение электората между выборами, расширение рядов партийцев.

Задача этой книги – базовая и в то же время почти энциклопедическая: дать обобщенное и систематизированное представление о навыках и приемах партийного строительства, которыми те, кто стоял у истоков партийно-политической работы, овладевали путем многочисленных проб и ошибок.

Задача этой книги – базовая и в то же время почти энциклопедическая: дать обобщенное и систематизированное представление о навыках и приемах партийного строительства, которыми те, кто стоял у истоков партийно-политической работы, овладевали путем многочисленных проб и ошибок.

Книги издательства «Европа»
в розницу по низким ценам можно
приобрести в нашем магазине по адресу:
г. Москва, Малый Гнездниковский пер.,
д. 9, стр. 3а (ст. м. «Пушкинская»)
Телефон: (495) 629-05-54



Серия «Политучеба»

Андрей Ашкеров

**ЭКСПЕРТОКРАТИЯ.
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ**
Производство и обращение информации
в эпоху ультракапитализма

Директор В. Глазычев
Главный редактор Г. Павловский
Ответственный за выпуск Т. Рапопорт
Художественный редактор С. Захаров
Технический редактор А. Монахов
Корректор В. Кинша
Верстка П. Ольховский

Подписано в печать 24.03.2009.
Формат 70 × 90 ¹/₁₆. Гарнитура Charter.
Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл. печ. л. 7,9.
Тираж 2000 экз.

Издательство «Европа»
119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 1.
Тел. 745-52-25, факс 725-78-67
e-mail: info@europublish.ru
www.europublish.ru

Отпечатано с оригинал-макета
в «Типографии Момент»